

Владимир

Гонимые

Вещи

В-797

Вещи

В-797

Владимир Гандельман

Вещи

ВРЕЩА



На обложке — ивритское **סִירְבֵּד** — Дварим — последняя, завершающая часть Торы, Пятикнижия. «Дварим» означает перечисление, название слов, их «овеществление», то есть, их проявление, воплощение. Эти слова (эле ha-дварим הלא **סִירְבֵּד**), — от слова «дибур», то есть, изречение, — в буквальном смысле возникли из безмолвия пустыни и предшествующей слову немоты.

Названное словом обретает жизнь, право на существование, становится видимым, проявленным, обрастает подробностями и смыслами. Или же наоборот: воссоздание предметного мира наделяет смыслом, одушевляет то, что существует исключительно в воображении и памяти того, кто называет вещи своими именами.

Владимир Гандельсман

ВЕЩИ

Київ



Друкарський двір Олеса Федорова
2023

УДК 821.161.1(73)'06-14

Г19

Гандельсман, Владимир

Г19 **Вещи / В. Гандельсман. — К. : Друкарський двір Олега Федорова, 2023. — 168 с.**

ISBN 978-617-8082-95-6

Владимир Гандельсман (р. 1948) — поэт и эссеист, автор двух десятков сборников стихов, лауреат нескольких поэтических премий. С 1990 г. живёт в США. Переводчик с английского (от Шекспира, Льюиса Кэрролла, Эмили Дикинсон до современных американских поэтов). Поэзия Гандельсмана экспериментальна, но при этом не порывает с традицией Серебряного века.

УДК 821.161.1(73)'06-14

ISBN 978-617-8082-95-6

© Гандельсман В., 2023

© Арутюнова К., іл., 2023

© Федоров О. М., видавець, 2023

за городом

страда моментального отклика
в воздушном идёт синема:
на взгляд откликается облако —
в разрыве его синева.

на мысль отвечает акация —
соцветий горят образцы,
а вечером в поле за станцией
сверкнут проливные косцы.

вода жизнесмерти проточная:
лишь рыба плеснёт в тишине —
сорвётся звезда полуночная
и мир шевельнётся в зерне.

Готланд

розы, выросшие на камнях,
остров роз,
запах спящего дерева в церквях,
детский Христос,
созданный не Отцом,
а плотником, Его отцом.

так доверчивей, и так монах
кормит коз,
словно держит сердце своё в руках,
сланец стрекоз,
шёлк бабочек, шёлк, шёлк,
знающий в лепетанье толк.

остров, где каждый дом осиян,
где сосной
пахнет кровь Его рисованных ран,
где жив земной
на щеках прихожан
отсвет земляничных полян.

там, где к ночи густеет замес
волн морских
и — под стать им — мускулистых небес,
голос не стих
Твой и взгляд не исчез, —
нет исчезновенья чудес.

* * *

соберём хворост прошлого,
эту хворость, где нет ни тебя
со мной, ни меня с тобой — проще ли
было, когда судьба, темня,
выбирала тех, с кем нам легче,
пока не легла, радость моя, на плечи?

соберём, чтобы сложить костёр, и
пусть горит огнём он, ломая пальцы,
а когда сухая листва, как скорый,
пронесётся, испепелясь, по ветке, — скитальцы
прошлого, мы друг друга
разглядим без испуга.

так на платформе внезапно двое
остаются, осиротев на долю
секунды и потеряв родное,
осторожно пробуя новую волю
и замечая, что уж теперь они
совершенно, радость моя, вдвоём одни.

ты нежнее мысли о нежном. если
тьма загробная — тьма и только,
то отныне частица ли света, весь ли
свет, тобой зовущийся, там надолго,
на всю мою смерть, и значит —
навсегда, потому что бессмертно начат.

* * *

окраины рана открытая,
канава, пикник в лопухах...
о, недаровитая
жизнь, вся впопыхах.

газеты неновость вчерашняя,
жаровня, запчасти, гараж,
и вывеска страшная —
в лоб — «шиномонтаж».

окалина вечера, скудное
строение — серый вывѣх,
любовь многотрудная
у этих двоих.

кому или кем они преданы
когда-то бывали поврозь?
прочь, тема запретная,
ты храмина слѣз.

закатное небо раскроено.
любовь во спасение, в ней
всѣ так и устроено,
чтоб было больней.

исчадие жажды и жадности,
любовь, где с исподу видны
подпалины жалости
и шрамы вины.

петербургское

о ночном, морозящем,
морозящем, ночном,
прямо в сердце разящем,
несравненном моём,

о промозглом спектакле
бликов на мостовой,
о бессмертии в капле
золотой, дождевой,

только в нём унывалось
и счастливилось в нём,
только здесь удавалось
раствориться в родном,

так подсвечен, что мнится
из небесных кулис
тот и выйдет, кто снится, —
серых улиц Улисс,

воротник приподнимет,
поведёт за собой
и внезапно покинет,
упокоясь в сырой,

только в этом повторе,
с расстояния лет,
я согласен на горе
как на пролитый свет,

на его нарастанье
в морозящем, ночном,
на земное прощанье
и родство в неземном.

* * *

будешь мелкой дрожью ещё дрожать,
вспомнишь всех, кого обошёл,
чьи гноились раны, кого дожать
соковыжималки чаял божок,
кто в палате, в этом, по сути, зле,
пить (а нету!) просил, хрипя,
и больница на гнилой земле
волком выла поперёк себя.
всласть дышать хотелось, а не сидеть
среди наволочек-простыней...
утром, накинув солнечную сеть,
шёл, и блаженствовал, и нежился в ней,
и не ведал, что, не превосходя
самого себя, не дано видеть, дитя,
суть вещей, и что жизнь, заметь, —
просто сплетня, если не помнит смерть.

сороковины

сквозь ночь в себя смотри,
подсчитывай убытки.
что значат — изнутри
тебя вернуть — попытки?

мнёшь темноту, как воск.
как бы бессрочным ссыльным,
перемещён в мой мозг,
ты стал его усиьем.

я должен всем тобой
его обжить, чтоб взялся
и вспыхнул куст слепой,
и жизнью в смерть ввязался.

чтоб он тобой прозрел,
золотоносной жилой
продёрнут, и горел,
занявшись с новой силой.

теперь, когда меня
опередив, ты знаешь
всё, — дай ему огня
оттуда, где зияешь.

улитка, жук, мураш,
трава, песок, извёстка.
сорокадневный марш-
бросок слепого войска.

вот крепость смерти. стой.
пока осада длится,
двужильный разум твой
в едином не двоится.

СОН

то афиши край оборванный,
то рябой газетный стенд,
как во Мгу сероплатформенный
удаляющийся свет,

брат июньской ночи, пасмурный
день декабрьский, час иль два
всё же бликами прекрасными
одаряющий дома,

снится пристально, особенно
накануне января,
в задымлённом небе огненно
над Исакием горя,

лёгкий блеск игрушки ёлочной,
хрупкой частности страна
всё бренчит копилкой с мелочью,
золотиста и темна,

растопырив руки, ощупью
пробираясь, слышишь люк,
оглашённый мёртвой площадью
сна, — и вздрагиваешь вдруг.

* * *

дочери

дверью хлопнула и ушла.
душа моя как слегла.
не хотел помнить зла,
слегка

научился мысль отводить
от тебя. за десять лет
мог и вовсе забыть.
но нет.

а теперь мысль не отвожу —
так жестока, что с ней
перед небытием не дрожу.
жить — страшней.

* * *

дай письма равносильного лесу,
равносинего небу письма,
равноссылного кровле, железу
полужалобы-полужилья,

с переблеском чердачным на хищном
заостреньи пера и ночным,
раздышавшимся травами, нищим
и свободным пространством моим,

будь согласно наклонному свету, —
так земная поверена ось
ледовитым, откуда-то сверху,
и безадресным взглядом насквозь.

река

пока листвою тянет прелой,
покоится передо мной
кораблик видимости белой
и берег зелени пушной.

и, радуясь небесным высям,
как бы с предшествующей им
ночною выемкою писем,
летит какой-то нелюдим.

пока он длитя без усилъя
и видит проблеском клавир
сырой реки, — реки, и крылья
себя влечивают в мир.

* * *

Ире Черняховской

давай прекрасными слегка
мы перекинемся словами,
пока, озябшая, слегла,
дрожа, река под облаками.

пусть речь не будет нам тесна,
смотри, как в сентябрых и маях
река играет дотемна
свою мелодию на сваях.

она очнётся поутру,
как ласковая жизнь — ни всхлипа —
ребёнка, медленно игру
затеявшего после гриппа.

когда протянет руку снег
и станет холодно в квартире,
когда устанем, как вовек
не уставали в этом мире,

давай представим перед сном,
что не проснёмся, но по мере
рассвета солнце колесом
пройдётся от окна до двери.

стоическое дерево

побелели корни мои, повывлезли —
вот я, на берегу.
оглянусь на лес и
увидю: шебуршит, ветвась торопливо.
я не сторож лесу, тишину стерегу
на краю залива.

я забыл себя, как античная фреска.
многознание уму
(говорит эфесский
муж) не учит. забвенье учит, стоянье:
в полночь — впитывать тьму,
на заре — сиянье.

я зажат пластинами подземных тисков,
но слеза не течёт,
но вовеки веков
ты не сыщешь того — на миру́, где стою́, —
кто притворством сочтёт
крови кротость мою.

самое время молча дорожить речью,
и, держа свою статью,
той волне навстречу
идти неподвижно, корнями голо
впившись в почву, чтоб стать
веществом помола.

* * *

то ли крестиком вышито,
то ли ноликом, то ли
талинó-талинóли
нам ниспослано свыше то,
что обуглилось в боли.

это выжато, прожито.
верно путь ли торили?
литари́-литари́ли
боже правый, да что ж это
мы с тобой натворили?

точно жили мы начерно.
дочь (во что мы играли?
проигра-проиграли)
нас презрела. утрачено,
то, что мы потеряли.

окон всплесками улица
по стене полубредит.
пусть две тени приветит
что нам светит, безумица,
да и светит ли, светит?

ваятель

гром ли громыхал
или горячо
солнце било без промаха
в темя, в плечо,

были труды просты,
гнули к земле. не бог —
человек из глубин пласты
нутряные волок.

или на бездорожье
сидел без сил —
смертной дрожью
страх по лицу скользил.

но силой нам не
мериться.
он был сердцем камня.
камнем сердца.

не глядят вдаль волы...
солнце жгло.
а что в землю вдавливало,
к небу взошло.

* * *

я шёл, я был один на белом свете,
и только колокол небесный бил
безмолвно, и сжимали горло... эти...
объятия?.. рыдания?.. забыл.

я шёл, и сквозь деревья холод голо
на землю падал, и клонился... да...
день?.. и сжимали горло... горло...
но что?.. к чему клонился он?.. куда?

я шёл, я с белым светом был в разлуке
и вдруг в окно взглянул сквозь темноту —
там человек стоял, раскинув руки,
прибит прибоем вечера к кресту.

четырнадцатое февраля

у винно-водочного, застеклённый рай.
день фиолетовый, февральский.
в руке сжимаю ключ. какой? Кастальский.
себя стирает дерево. стирай,
согнувшись в три погибели в закате.
пробило шесть в шестой палате.

по оттепели не сошедший снег
сереет койками с ума сошедших,
сводящих счёты с жизнью, но не сведших.
там я стою, прощальный человек,
у винно-водочного и смотрю, как пламя
из окон — рыжими клоками.

халат на босо тело в самый раз.
мелькнул впотьмах Марии Лазич локон.
усильем воли уползаю в кокон,
чтоб в образы бог весть когда (сейчас!)
мне вылететь — о да! — презревши пыль их.
лечу на опалённых крыльях.

там я стою. я замер, я замёр
разлома снизу вверх, по вертикали,
до звёзд, что, пробивая гарь, сверкали,
еврей я шеншин, римлянин, шумер,
в той книге, что горит в Александрии,
я фраза вечная, внутри я.

сгори дотла. в трубу труба зовёт.
дымится дом, зеваки доят горе,
и гончий их огонь в глазах в повторе
документальных кадров вижу — вот!
нет никакого горя, хорошею,
и гнёт фонарь вдали жирафью шею.

фигура за фигурой, видит Блок,
сгорают шахматы, картины, книги,
я в Шахматово прожил эти миги
задолго до того, как превозмог
и пережил себя — развеян пепел,
и мне легко, хоть я сегодня не пил.

лечу на свет. не мой ли дом горит?
Мойсейка, шапочная ль мастерская?
не знаю что и кто, огнём верстая,
меня как незабвенный текст творит.
в руке сжимаю ключ. какой? Кастальский.
день фиолетовый, февральский.

* * *

всполохи звёзд горящим порохом,
и эти, сорванные с крон,
раскрики хриплые ворон,
раскрики и круженье ворохом,

и гусениц меха — то сжатые,
а то растянутые на
один прополз — кора черна, —
себя в свой кокон провожатые,

и ночь, и ночь до часа раннего,
до упразднённых в небе вех,
когда я устремлюсь наверх,
коснувшись синего бескрайнего,

и с птичьего полёта птичьего
увидев точку на земной
коре, явившуюся мной,
исчезну, чтоб врасплох постичь Его.

* * *

мост Иоанновский, чуть выгнута
его спина, снег перевозданный,
лететь и таять — что за выгода? —
младенческий, ты гость мой званный.
у розовой полоски крепости,
где парк и на зиму есть горка,
дни шли пешком в своей конкретности
и расходились, как «Вечорка».
и тратились запасы царские,
пока светилась та полоска,
и запах типографской краски я
вдыхал, застыв возле киоска.
какое-то дитя зарёвано —
мать за руку его куда-то,
и мне взволнованность дарована,
как вспышка между строк заката.
не горб империи по гроб нести,
но облик облаков небыстрых
и ювелирные подробности
деревьев в каплях серебристых.
что там ещё? смущенье, скованность,
за «Стерегушим» жалкий лепет
и много больше, чем взволнованность —
любовь и всякий прочий трепет.

* * *

мать за руку со мной, и вечер чудный
в пятидесятом, господи, году
напомнил этот пригород безлюдный.
прости, к простому слову припаду.

взять осторожно снега на лопатку
или упасть, от боли голося...
я засмотрюсь на детскую площадку,
как кинозал, смеркающуюся.

боль и обида в рост пойдут, не удаль,
но это, как в бинокле, далеко,
вот бегают дворовый мальчик, трудно ль
быть гением и так любить легко,

озвучив зимний день свободной речью?
а вот и мать — казённому отбой! —
за ним пришла, он ей бежит навстречу.
не плачь, не плачь, придёт и за тобой.

* * *

Не се ль Элизиум полнощный...

А. Пушкин

сквозь редкий снег мы этот город весь
пройдём и удивимся с непривычки,
какие ходят худенькие здесь
колеблющие воздух электрички,
как, в сумерках впадая в забытье,
Господень храм без пристальной опеки
разменивает золото своё
на нищий сад, всё сбывший до копейки,
как зимний день умеет озарить
в оконных переплётах те страницы,
в которых он приговорён прикрыть
в три пополудни серые ресницы.
вот эти жизнь и смерть, не обессудь,
смотри, не оскверняя их проклятьем,
и если ты не римлянин, то будь
невозмутимо зорок, чтобы стать им.
пройдём весь город вдоль и поперёк,
висящий на пунктирных нитях,
чтобы забыть роскошность этих строк,
не стоящих его, забыть, забыть их.

* * *

Спящей ночи трепетанье...

А. Пушкин

вой ветра или чей-то плач?
я подошёл к ограде —
в саду безмолвно стыла ночь,
и всё затихло вроде.
сверкнул светильник из-за туч
и тоже стих бесследно.
о чём ты, стих, заводишь речь?
о ком ты? здесь безлюдно.
в ночной квартире я один.
один. чего ты хочешь?
угомонись. средь этих стен
ведь только ты и хнычешь.
как поводырь, меня провёл...
провёл? но я не слеп и
я не был там, где ветер выл,
и не слышал ни всхлипа.
и я не рад тебе, не рад,
как если б ты постылым
мотивом мне пророчил труд,
который не по силам.

* * *

ты узор, нерукотворно вышитый,
жизни бережно осиль.
видишь, как слетает с крыши той,
вьётся пыль

снежная, покуда не рассеется,
в чистокровном воздухе висит,
тянется, и светится, и веется,
как дымит

во дворе котельная и, стало быть,
как на белом — гаревый налёт,
как умеет косо ломом скалывать
вратник лёд?

пристально во всё вживись:
в перекличку огненную фар, в
бег служивого — как, съёжившись,
дышит в шарф.

несказанное лови, бесшумное.
я в разрыв проникну временной
и, пока не выдворен, вдышу моё
в то, что мной

станет после жизни, и с удвоенной
силой ты увидишь вдалеке
гаснущий мой вечер, упокоенный
здесь, в строке.

* * *

времени подорожание.
но ещё не истощились дни —
острое даёт переживание
мягкость приложения ступни.

выдоха и вдоха откровение.
поручень в трамвае тронь —
чувствует его ладонь
как последнее прикосновение.

этот путь протоптанный
новонабранным стал днём:
вот он я стою как вкопанный,
лишний раз рождаясь в нём.

снегом приголублена окраина.
возле «гастрономии», раскос,
с мордой лисьей пёс
ждёт богоявления хозяина.

на рождение Аполлона

чуть я ступил в весенний сад,
где пели птички остроликие,
и мой по вертикали взгляд
отправился в поля великие,
как вмиг случайная строка
зайскрилась звеном связующим,
и кёрха стройная, строга,
перстом явилась указующим.
но в облаках не Страшный суд
увидел я, не меч суждённого,
а неба нежного лоскут
как пятку бога нарождённого.

минувший стихотворец

старатель приисков золотоносных
в продольных гулах улиц, вахт
ночных сжимающий свой посох
(гусиное перо), подъёмных шахт
блюститель, чахнувший кашей-зачинщик
непререкаемых речей,
их сточенный на нет точильщик
и — кто ещё?.. старик. точней,
отслеживатель всяческих мерцаний —
не окон — ламп зашторенных скорей
и обречённый слушатель бряцаний
в небытие грядущих фонарей,
а по весне, где верховодил
апрельский день, лазоревый на срез,
я тайнозритель просветлённых ветел
и созерцадик царственных небес.

клоунада с буквой «ф»

наивный и слегка фривольный тон.
без фанаберий. здесь театр теней.
пройдёшь фольварк — увидишь фазтон,
там спросишь Фальконе, он даст коней.
за фабрикою ребятне на страх —
дремучий лес, феэрия — не лес.
он фиолетов, с тиграми в кустах.
в путь с факелами, времени в обрез!

горят в чащобе фары — синий спирт,
то — филин-великан, многоочёт,
а дальше — фавн и нимфа, значит, флирт,
и бьёт крылом фазан, и ёж фырчит.
н-но! не финтить! фортуна, помоги!
а вот и расфуфыренный фасад.
гремят фанфары, взводятся курки,
и фейерверки в воздухе висят.

вбегают шут, фингал на пол-лица,
за ним другой, на нём дырявый фрак.
из глаз фонтаны брызжут без конца,
«клади, — кричат, — фекалии, дурак!»
фанерный ящик с франтом в сюртуке —
вот в крышку гроба вбит фатальный гвоздь —
вот — форте, форте! — ящик на крюке...
дробь. гром. финита. череп. гостю — кость.

а вот хохочет фат и фанфарон,
что с фурией профукал жизнь свою,
а вот вчера фунфыривший барон
сидит бараном, фпрочем, он в раю.
фурор, факир! флажки, буфетный сор,
и фантики, и в полунеглиже
наездница в софитах, и жонглёр
подбрасывает яйца Фаберже.

фривольный тон, печальный фон, и гнёт
своё тоска, филонят звонари,
устала флейта и устал фагот,
фонарщики устали, фонари.
нам по фатерам, а в лесу темно,
грифон гремучий и фантомный барс.
нам, Федерико, в путь! гаси кино.
ты филигранный гений. кончен фарс.

три мгновения в парке

1

я прикоснулся взглядом только
к ольхе, листочками летящей
и вспыхивающей настолько
прицельно, что почти слепящей,
и вдруг услышал в отдалении
сухой сосны сердцебиение,
и двинулся на ответ медный,
как родственник и рыцарь бедный.
там света праздничные зёрна
землёю стали, перемелены
дотла, и ветви были медленны,
и вглубь сосна росла покорно.

2

мысль, как жемчуг, нанизывай,
чтоб сияла своей белизной,
молча, молча, без низменной
задушевности разливной.
помнишь, в точке небесной
перед тем, как погаснуть, притих
взгляд подруги, прозрачной бездной
отгороженный от живых?
как цветок, это облако сорвано,
но горит на рассвете в лучах.
миг — всё в белое собрано.
не гаси его в смертных речах.

3

парочка — мимо. она говорит: «что-то зябну я». солнце за крышу двора закатилось монетного. вдох. осознание внутри-себя-вдоха внезапное.хватишься — нет его.

как впечатлённость в живое и долгое выпросить право на поднятый всеми ресницами занавес, если бессилён прочесть и тем более выразить эту светайнопись?

просто восславь переливчато-зыбкое, краткое небо — под ним ничего нерождённого нет и пустого — и радуйся появлению украдкою слова подённого.

просто пройди, как прошли эти двое, в далёкое, чистое и безраздельное, в праздном радении не оглянувшись продлить любопытство двуокое.хватишься — где они?

* * *

когда я жил её любя
и с нею слитно
я повторял внутри себя
свою молитву
не дай отчаяться строкой
и поразиться
что кто-то дольше чем другой
под небом длится
не дай ей смерти никогда
чтобы на свете
она осталась навсегда
не дай ей смерти

* * *

идя из школы музыкальной,
где пруд зеркальный
(ещё сонатное анданте
как отзвук «данте»
в ушах звучало, но стихая),
в начале мая
прозрачный свет невероятный
я встретил вербный.
и не было ни ноты дальше
без капли фальши.
летали в небе жизни птичьи,
но Беатриче
уже исчезла (вновь соната...)
в огне заката.

* * *

небо звёзд ли, микроны
мги, листва ли сыра и промозгла...
но творение кроны
человеческой — мозга —

вовсе чудо, Всевышний.
как Ты смог его преумножить?
ведь ещё непостижней
это всё уничтожить.

что ж тут странного, если
день сегодня светлей, чем обычно,
и легко мне, и есть ли,
есть ли я — безразлично.

под листвою, рождённой
утром, лист лежит прошлогодний,
бездыханный, придонный,
жизни брат бесподобный.

день

торопясь, за ступенью ступень,
дверь парадной...
открывается день
в новоро́жденный воздух отраднѣй,

в ярко-синее небо, в сирень,
в свет отвесный,
в бестелесную тень,
в трепет тени куста бессловесный.

краткий миг — он с тобою не врозь,
беспредельный,
точно кто-то насквозь
проникает сосуд твой скудельный.

и тебя — я нечаянный сбой улучу
стихотворного метра —
держит, словно свечу,
прикрывая ладонью от ветра.

в трёх частях

как ни называй их
иберийцами
римлянами
италийцами
хоть патрициями
хоть свиными рылами
всяко ходят скопом
с копьями
с топотом пульса в крови
в поту
вброд
по горло топями
или на плоту
багровы багры
крики
вдоль по реке
ночью жгут костры
и точат когти
и висят в раскоряку скотьи
туши на крюке

но не смрад силы
не тучи
их фаланг не огонь
не стоны агонии
в смертном позоре
лишь имена певучие
Юлий
Эмилий

Клавдий
Помпей
Антоний
остаются
это путь а не случай
истории
оставлять звук имён
не мольбы тех кто пленён
и не прах
того кто сожжён
и не горе
поруганных жён

да и что из Альпийских
из Тирренского
Ионического
и Адриатики
из спящего списка
извлечёшь
кроме блеска
их величеств
гор
и моря
и прядей дриады
и любви двух
отроков
отроков вдох и выдох
обмороков
сердцу тесно
и другое ему соприродно
и зовёт юницу из оков
то одна песня
то другая поочередно

надпись на книге

о сердечной тяжести
или радости, дочь,
о гудке, огласившем ночь,
о его протяжности.
упадёт звезда — не моргну.
всё навеки проявлено.
небо гарью приправлено —
надышаться им не могу.
это детство моё с такой
нежностью приглублено,
точно там и полюблено
то, что станет тобой.

ЯБЛОНЯ

яблоня в законной
тишине изнутри
каждой гирьки зелёной
мне глаголет: смотри.

ведь пока голосами
птиц колеблем рассвет,
весом быть и весами —
лучшей участи нет.

зарождается запись
в отдаленье, как гром,
как замес и как завязь
с сердцевидным нутром.

что же так заслоняло
раньше зреньё моё?
разве яблони мало,
чтоб смотреть на неё?

* * *

наизнанку эдем
памяти зло
вывернут. ком
в горле. бывшее с тем
только светло,
с кем незнаком.

за душой ни гроша.
что ты темнишь?
выйди на свет.
крошечная душа
в пятки, как мышь,
убежала — и нет.

радости имена
в пух и прах
разлетелись в пути.
пришли времена.
стоят в дверях.
не дают пройти.

* * *

из какого полумрака ты
вышла в солнце зимнее и невысокое,
сотканная из какой беды,
из какой печали сотканная —
за одно мгновенье до весны
в тишину февральскую, беззвёздную,
созданная вся из белизны,
зрения во славу созданная?
не одно из тысячи начал,
но — единственное. более подробного
облика любви я не встречал.
никогда и ничего подобного.

там текла река — стекла литьё —
в арку Троицкого, точно в залу тронную,
но какая-то беда своё
кровное брала украдкой тёмною,
душу унося в другую даль,
проча ей тяжёлую и бесприветную,
пригнетённую к земле печаль,
кем бог знает заповеданную.
словно бы на свой закат спеша —
птичья лёгкость ли ей опостылела? —
неба не осилила душа,
не превозмогла и не осилила.

* * *

деревья в стоворе, как близкие
неизлечимого, и смотрят, утешая
тебя, поверх тебя, в луга Альпийские,
цветущие, и боль, пусть небольшая,

но есть, но ест, как эта роль смиренца
непримиримого... молчу, не спору,
и не смотреть поверх, а насмотреться
я вышел сквозь деревья к морю.

за мальчиком терьер ушастый
бежит то нехотя, то припуская...
не подышать я вышел — надышаться,
и в этом соль, и в этом соль морская.

МИМОХОДОМ

сутуловатый, в тренировочных
штанах поношенных, белёсый,
марионеткой на верёвочных
поводьях движется чуть косо
чернорабочий, только нанятый,
вдоль продовольствий магазинных —
и головою, в плечи втянутой,
вращает, и в его пустынных
глазах испуг — с лицом, повернутым
к заведующей, указаньям
покорствуя, с лицом, подёрнутым
юродивым полусознанием...

я прочитал в окне: «ремонтная...» —
и так забилося сердце часто...
что жизнь, когда она, дремотная,
безвыходна и безучастна?
зачем так девушка жеманится,
что лучше бы её не видеть,
и горло горестно сжимается?
пройти, тупой тоски не выдать.
о чём они бормочут, ссорятся,
кричат и плачут среди ночи?
пройти, исчезнуть, не позориться.
прощай, мой друг чернорабочий.

она

Наташе

за тех, кто угасающего, тихого,
собачьего ли, человеческого,
просящего, беспомощного взгляда
бежал и прятался, за тех, кто не смотрел
в глаза, открытые небытию, —
ей только и даровано прощенье,
единственной, ни в чём не виноватой.

она не знает никакого бога,
и потому она для бога — всё,
иначе как бы он родился
и во спасенье дал тебе молитву
и веру в милосердие, а значит —
в неё одну. ступай в свой хитрый храм.
а смерть дохнёт — она придёт на помощь.

ракурс

художник написал ступни Христа,
пропахшие сухим песком и кровью,
и двинулся по плоскости холста
к предполагаемому изголовью.
жаровня остывала, серый прах
чуть вспыхивал, и в отсвете, навеки
не уходя, мерцал огонь в глазах,
покойнику приоткрывая веки.
кисть слушалась и, вложенная в кисть,
писала плоть — как если б умер камень —
холодную. и всё. и вся корысть.
вот лёд живой и мёртвый пламень.

ПЛОТЫ

белые плывут плоты, плоты,
а по берегу складь, складь, складь,
и лежит по тем складам,
что читал ты по складам.
белые плывут плоты, плоты.
молчаливы сомкнутые рты.
в тот и в этот плот заподлицо
вбиты гвозди. узнаю любой в лицо.

белые плывут плоты, плоты,
по другому берегу столбы, столбы
и платки, платки, платки —
белые, как белых рыб глотки.
белые плывут плоты, плоты.
немо, блёкло небо — взято на болты.
облака застыли, как плоды
в бездыханном зеркале воды.

* * *

Ире Вальдрон

ты июньский ветер воспой,
дом, умеющий органо́м звучать,
ты скажи мне, где мы были с тобой,
не молчи, нет никакого смысла молчать,

получил открытку — я лет семи
да сестра двоюродная семи лет,
щёлкни, щёлкни нас, фотограф, сними,
в синем небе пролети самолёт,

конь, пройди всем запахом по траве,
отразись, мотая гривой, в реке,
ты найдёшь меня по этой строфе,
а точнее захочешь — по этой строке,

вдруг остановился я в декабре,
побелел, прилёт из последних сил,
пот холодный проступил на коре,
я просить не стал, никогда не просил,

вот беззвучно прогремел гром,
время строить новый дом, нечем крыть,
мы не скажем никому, что умрём,
никакого смысла нет говорить.

* * *

вспомни всё, что не помнишь, и узаконь.
вот стоишь на платформе, февраль.
в километре справа два — огонь и огонь —
приближаются, слева — царскосельская даль.
есть там комната, комната есть одна,
тычусь в ней, как приеду, из угла в угол,
или сяду за стол — не хочу ни чая, ни сна,
только ночь в окне прогорает из угля в уголь.

ни страстей, ни просто чувств — ничего,
ни единой мысли, протягиваешь ли руку,
подай на пропитанье, скажи, чем начинено,
существование, ходящее со мной по кругу?
на платформе кафе-павильон, донеслось
чье-то тихое и озябшее: «Аня, Аня...»
надо вспомнить то, что само бы не собралось
никогда даже в серенькое воспоминанье.

* * *

сёстры медицинские смеются
на своём ночном дежурстве,
разбегаются, сиюминутятся.
звёзды гаснут, новые зажгутся.

а кому и не зажгутся звёзды.
кто-то там кричит за ширмой,
точно в тело забивают гвозди.
свет над головой надмирный.

а кому и не слышать в их трюмах
сна, как лезвием точёным
крик, как при пустых трибунах,
чиркнет в небе чёрном.

а кому и не узнать, что жил он,
если не уколет правда
смерти, на параде был двужилен
и наряжен, хлоп — и нет парада.

развяжи повязки мне тугие
да вколи морфин... снуются,
скоро сменятся, придут другие.
сёстры медицинские смеются.

* * *

доение коровы, да, коровы доение,
из-под сжатой кисти руки
косая в ведро струя, её иногда двоеение
между пальцев, пар, парники.
как белеет молоко, как безволие
вечера непреклонно, какая взвесь,
ничего более человеческого, более
ничего не замечено в пребывании здесь.
ни смирения, никакого тебе смирения,
ни прощения ещё не дано,
есть смотрение, одно смотрение,
и оно — до любви, оно одно,
на простое доение или в сон в глухом
селе, обессилен от жизни, или опять
у забора кривого с подсолнухом
постою и дальше, дальше буду стоять.
где-то есть восток-восход-анатолия,
спи, чтоб явилась, если не будет света,
эта непреклонность безволия,
да, неумолимость молочная эта.

* * *

я что-то знал сию секунду главное
о жизни без меня, где всё окликнуто
и откликается: на ветер — дерево,
на птичью тень — волна залива плавная,
когда ничто друг другом не покинуто
и найдено то, что вчера потеряно.

зарёванный ребёнок видит зарево
и засыпает на руках у матери,
и вечер бережно над ним склоняется,
солдаты на привале варят варево,
а мироздания всепониматели
без устали в чащобах книг слоняются.

прозрение, что в воздухе маячило,
которым вдруг душа была окликнута —
я оглянулся, — как подмётка, стоптано.
а то, что я его утратил, значило:
все обошлись, прислушайся: ни крикнуто
«куда ты подевался?», ни прощёптано.

на карантине

вой сирены с дальней санитарной заставы.
голова взлетает над головою прямо,
а потом и криво, как из окопов,
это шейные позвонки и локтевые суставы.
это праздник, вам говорят, это подобье храма.
сколько сразу голеностопов!

в мониторе горит метафора в виде
пустых трибун — под открытым, как рана,
чёрным небом — с полем посередине.
что не радуется? или душой кривите?
это праздник, вам говорят, это подобье храма.
молитесь бегающей животине.

я молюсь, молюсь и зимой, и летом,
не отрываясь от светящегося экрана,
слепну, гложу, но не смыкая
глаз, радуюсь двадцати двум атлетам.
это праздник, вам говорят, это подобье храма.
это бог Никто и жена его Никакая.

отданная на растерзание ляжесто-сильных —
под прожекторами — воздушная яма.
если ещё не совсем ослеп я,
голову голеадора несут на носилках.
это праздник, вам говорят, это подобье храма.
это последнего неба великолепье.

* * *

СМОТРУ: дитя котёнка тискает.
ВОТ МИР — ни весел, ни печален,
НИКЕМ НЕ СОЗДАН, ОН БЫТИЙСТВУЕТ,
ОН ДО-НАЧАЛЕН.

НИКЕМ, НИЧЕМ, СВОЕЮ ЯСНОСТЬЮ
НА НЕБЕ И ЗЕМЛЕ НАЧЕРТАН.
ЖИВЯСЬ ЛЮДЬМИ И МНОЮ, В ЧАСТНОСТИ,
ОН ТЕМ ИСЧЕРПАН.

ТЫ НЕ ПРЕДМЕТ ЕМУ УГОДНОГО
ЗАДУМАННОГО ПРОРАСТАНИЯ,
ТЫ ПРОСТО СЛЕД ЕГО СВОБОДНОГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ.

С ДИТЯТЕЙ И КОТЁНКОМ — В ДЕТСТВЕ Я,
И С НИМИ ТИХО И БЕЗВЕСТНО
ЕДИНСТВОМ ВРЕМЕНИ И ДЕЙСТВИЯ
СКРЕПЛЁН, И МЕСТА.

ЯВИВШИСЬ, МИР РОЖДАЕТ ЗАНОВО
СЕБЯ, ЧТОБ ПРЕБЫВАТЬ В НАЧАЛЕ —
ОВОЕКИ — ЯСНОГО И ЯВНОГО.
ШЛЮП НА ПРИЧАЛЕ.

НЕ МОЛОТИЛЬЩИК Я, НЕ ВЕЯТЕЛЬ,
НЕ ШТУКАТУРЩИК Я СО ШПАТЕЛЕМ.
КАК БОГ, Я БЫЛ РОЖДЁН СВИДЕТЕЛЕМ,
НЕ СОЗИДАТЕЛЕМ.

ничто, ничто никем не создано,
нет установленной загробности,
где всё заранее опознано
в её утробности.

и даже эта речь, прости,
не создана́, она весеннее,
найдя сама в мгновенной вечности
себя, — спасение.

старое кино

в том доме я не жил — ночевал,
только раны, скуля, врачевал
и зализывал.
и считал до получки гроши,
и обиды на нитку души
всё нанизывал.

там висел твой портрет. на глазах
этой живописи — я в слезах
и мычании
засыпал, пробуждался и вновь...
помню, фильм назывался: «любовь
и отчаянье».

выйдешь в осень — и сразу темно...
я смотрел на себя сквозь окно
запотевшее:
в сером демисезонном пальто
шёл на площадь я, как в шапито
опустевшее.

и стоял там под фонарём,
морозящим дыша сентябрём,
первой хворостью,
и дрожал там, и долго смотрел,
как портрет вместе с домом горел,
с тихой горестью.

не учи, как в последней строке
мне сострить в шутовском колпаке.
духа вражьего,
вот он, фильм, не иголка в стогу,
титры есть, но читать не могу,
слепну заживо.

* * *

не прячься, говорю, не прячься,
не закрывай глаза,
с открытыми глазами плачься
в синеющие небеса.
там трепетная жизнь не тонет
и тонки голоски
тех, кто усопших не хоронит
по-воровски,
лишь богу птичьему, благие,
благодарение поют
в своей небесной литургии,
как будто гнёзда мёртвым вьют.

* * *

о вдоль реки зелёной лая
о хвостиком бежит виляя
а то котёнком умиляя
смеётся или бродит злая
и в угол с нею из угла я

то глядя в зеркало сличая
себя с собой не разлучая

то снегом поле застилая
то летним пламенем пылая
весной цветеньем наделяя
а поздней осенью линияя
и тихо голову склоняя

и в темноте души не чая
ни сна ни яви не встречая

то белым небом пеленая
и ласковая и льняная
то лунной ночью слюдяная
благодаря и проклиная
в пролётах горя проливная

то слово словом привечая
и вдохом тишину венчая

* * *

получил, говорит, в столовой суп,
холодный борщ,
сел, ссутулясь, хлюп, хлюп
(мать — ребёнку: ты не топорщ
глаза), сиж, говорит, нищ
и небрит, и тощ,
и в окне ещё луч из-за тёмных ниш,
звучащий точь-в-точь
как слово. Слово. но то не я,
показалось, сиж, я не мог
чтоб слеза в тарелку. нет, не моя.
это мною, думаю, плачет Бог.
это Он от жалости и любя.
луч в окне горит.
в избавлении нацело от себя
чистота безупречная есть, говорит.

* * *

дрогнувшая ли свечой в затоне
звезда, задета веслом,
ночь ли, греющая свои ладони
моим теплом,
дерево ли, во мне негодуя
на ветер, кочующий по углам
сознания, — едва уйду я
по неотложным делам, —
смолкнут... другой им ссудит
жизнь — что с того?
для меня их созвучие будет
мертвѣм мертвѣ.
к этим хлѣба краюхам
время прикасаться другим, свечу
зажигая и слыша всем слухом,
как я глухо молчу.

* * *

снится котёнок реснится
что мне ещё предстоит
сон как бумажный кораблик кренится
чьими слезами пропитан и что он таит
хочет проснуться просунуться хочет
в жизнь но томительно длится
тлится недоброе прочит

прячет в ресницах как в прятки
дети играют втемне
краткого времени только укртки
только украдки украденного снятся мне
дочь у окна нараспашку и веток
дерева быстрые прядки
вспыхивают напоследок

как мне письмо переправить
если оно в никуда
тонет кораблик и память не сплавить
явью себя не согреть и сгореть от стыда
что не успел я раскаяньем эти
строки свои озаглавить
нет их отныне на свете

* * *

рождённый по тому прообразу,
невидимо-неколебимому,
в обозе Господа, по абрису,
ещё до Господа любимому
молчащим изначальным словом,
рождённый в человечесий гомон,
я стал для крови жизни — кровом
и буквой замысла. но в чём он?

зачем моё дыханье считано
не с таборного и проворного —
с того, которым и молчит оно,
воистину — с нерукотворного?
дыши, дыханье, не бессильных
удел, ты есть — о чём и речь вся —
затем, чтоб выветриться в синих
палатах неба и пресечься.

ПАМЯТНИК

пел старьё берём старьёвщик
доносилось со двора эхо
почтальон втискивал в ящик
газету вздыхал эх-хо
шила стрекоча портниха
прачка бельё брала в стирку
становилось к вечеру так тихо
точно писано под копирку
человек отчаивался чего ради
вспыхивал в мозгу сварщик
за окном с тетрадью
переписчик возился сверщик
над колыбелью свои сети
раскидывал путь млечный
я не жил столько тысячелетий
и потом не буду жить вечно

из аллеи

виднелось вдалеке пустое поле,
на солнце детские ладоньки
листвы, как если бы в них что-то пело,
прозрачно зеленели и легонько
дрожали. затевались эти строки
в спокойном и беспрекословном свете.
ни грома, ни грозы, ни рифма «сроки»
ещё не шла стиху, ни рифма «сети».
но если ты не слышал гула,
и тишина стояла, не затишье,
зачем, скажи, тебя к жилью тянуло
и краткому дымку над крышей,
туда, где длится вечное застолье
и — умное ли слово, вздор ли —
где вволю злы и рады поневоле,
и счастье смертное застряло в горле?

* * *

он, читая, увидит: звезда,
и его удивит: жизнь её — на примете,
и уснёт, как умрёт, навсегда,
и проснётся, — едва на рассвете
заискрится роса,
он, послушник, невидимой цепью
приковав себя к тихому, как небеса,
неотступному великолепию
переливной реки, своё слово творит
и за Ним повторяет,
что сначала увидит, потом удивит,
но ни буквы не потеряет.

ПÓЛКИ

синий десятитомник, одна заря
в нём сменяет другую, и ночь лучиста,
утром в отчий
дом вернёшься, благодаря
Александра, — он до стихов охоч и
бегло с листа играет, легко и чисто.

чёрный с красной полоской Шекспир
под редакцией Аникста, летний —
эльфы, феи, эфир —
на пуантах балетный
сон, и небо, которым лицо умоем, —
оникс с розоватым прослоем.

кто там дальше — не разберу,
кто на третьей слева теснится полке,
кто-то серый вступил в игру
и незванный, откуда
крик осла, и вазы летят осколки,
и скандал творится, и чахнет чудо.

человеческая комедия Онорé,
бежевые обложки
(отец Гориó —
я воздену руки в своей норе
и вскричу: «горе, о!
где ты, дочь?» — удаляющиеся дрожки)...

никаких обложек — видение,
краткой боли растение.
полки книжные заросли
фотографиями тех, кто отчий
дом покинул или исчез с лица земли,
и землистым стало лицо белой ночи.

я сказал: ночь, верну слепоглухонемых,
не стращай...
и родной голос печали
услышал: «ты хочешь повторных моих
страданий? не воскрешай». —
и тогда опять рассвело, как в начале.

ЛЮБОВЬ

о, сумасшедш
стих, ночи смежн,
он свет, он свет ж,
и нежн, и нежн,

я ночью шёл к
тебе, и ночь к
ступням, как шёлк
травы, и строчк

внезапный блеск,
как иглы, колк,
слепил, и треск
цикад, и щёлк —

вот так-то, так т! —
был устн, а там
и письмен в такт
моим пятам.

дети райка

такой единственный, единственный,
но только в здешнем измерении
непререкаемый и истинный
(ии – зияние в творении)

неукротимый свет, но втиснутый
в земную горечь и в смирение,
где есть Пьеро, где есть батистовый
платочек, синема, горение

экрана, этот вздор таинственный,
на миг преображённый в зрении...
где луч и стрёкот, трепет лиственный
и перистое воспарение?

элегия Марселю Прусту

всё —

«георгики» георгин, гекзаметр полдня медовый
с лепестком на губах,
осиянный шиповника куст,
мать с младенцем и память его нарастах —
(холод помнит ли он ледниковый
и дожитенный,
царь-невольник отныне пяти своих чувств?) —

всё прочесть,
всё, что есть.

и поскольку я рядом стою,
псалмопевец, тебя воспою,

кружевной твой, отточенный стиль:

собирая нектар, ненароком
левым, правым ли боком
серебристую пыль
задея — так велено тебе твоим богом, —
унести с шалфея мускатного
серебристого времени пыль
и другие соцветия опылить,
и ещё, и ещё, и стихами псалма неохватного,

как поля синевой новорожденной, день опалить.

пир брачующихся вкруг собора
с розой во лбу —
к ней слетающихся прихожан, всегдашний
их наряд васильковый, шафранный, —
и архангела, что трубит в трубу,
и собор на коленях, к небу воздевший башни,
и тишайший, из чудного света слиянный,
взгляд любви, и гвоздь, входящий в стопу, —

всё прочесть —

этот старческий скорбью прописанный лик,
отороченный рамой окна, —
как чеканка по меди, морщины, — бордовый,
жёлтый, тёмно-оранжевый, высвеченный на миг,
как из чёрного дня, как со дна,
громовой взгляд молчания вдовый.

возвести восковые высокие стены
с пламенеющим цветнем,
с запечатанными каплями мёда, —
и отречься. отречься.

свобода —

возвести эти стены и своды,
и, насытив собой золотистые соты,
исчерпать страсть охоты,
и покинуть дворец, и забыть окрылённые оды.

всё прочесть,
всё, что есть.

и поскольку ты все до единой ячейки прочла
и не тень на величье вещей легла —
свет на нём твоего чела —
ты с него начала! —
я оплачу в отрадной печали, оплачу тебя, пчела.

* * *

пусть вспыхнет моря полоса
и заиграют пядьцы
рассвета, и спадёт с лица
сна покрывальце,

пусть к ветке тянется рука
и яблоки срывает
и с плотью их себя строка
соизмеряет,

пусть небо синее, ничьё,
где ласточке леталось,
так прояснится, как ещё
не прояснялось.

пусть вечереет и втемне
три яблока белеют,
и пусть, когда сгорят в огне,
потом дотлеют

дрова, рассыпавшись в золу,
когда, не начиная,
прильнёт к оконному стеклу
гроза ночная,

проснётся дерево, дрожа,
и небосвод надтреснет,
я вспомню друга — и душа
его воскреснет.

фраза

я не хотел бы заглянуть в глаза
себе на операционном
столе, где в очереди за
последним вздохом порционным,
пощады жалобно прося
и видя сотворённое строкой
лученье рыбы — в страхе вся —
под острой,

я думал бы: дыханием согрет,
очнись — не тёмных снов сплетенье,
не сложносочинённый бред,
нет, новогоднее раденье
и жизни азбука моя, —
когда, погаснув на краю ума,
мигание я-я-я-я
вновь станет а, —

а-а-а-а — и чайной ложки сверк,
акация и акварельный
автограф лётчика, где верх,
а там, где низ, режим постельный,
ангина, мята, мать и сын,
алоэ, свет вечерний и льняной,
ал абажур, кругл апельсин,
альт за стеной.

* * *

какое счастье жить, вдоль по шнуру
рукой на выключатель наползая,
и ночь спустя проснуться поутру,
когда с ресниц легко слетает стая,
не стая — стайка снов, и жизнь, светая,
блистает над рекой, насквозь святая.

какое счастье, не стихотворя —
я только осязаю, только чую! —
и высший разум не благодаря,
сжимать в руках антоновку ручную
и к вечеру, почти уже ночную,
очнувшуюся речь вдыхать речную.

пусть материнская ладонь ко лбу
ребёнка прикоснётся. жар даренья!
я жизнь свою за то, чтобы тропу
рассветную найти во славу зренья,
где горделивая семья оленья
возникнет вновь, — отдам без сожаленья.

опус

однажды в феврале горел
наш дом, я на него смотрел.
жена слёз не лила,
стояла молча.
дом раздирал огонь клыками в клочья,
пока он не сгорел дотла.

там был отцовский портсигар,
мундштук, часы,
любимый ёлочный зелёный шар —
всё то, что не положишь на весы —
в особенности, если это почерк писем.
их пепел — дар небесным высям.

ещё альбом
тех фотографий чёрно-белых
с зимой, с деревьями в снегу, с катком,
с детьми в попытках неумелых
в «снегурочках» убогих с завитком.
родители за праздничным столом.

однажды, заболев, я сей
полночный опус начал,
уоставившись в туза крестей
окна. там дочь прошла и сын маячил.
как странно, что не навестили.
они меня за что-то не простили.

музыка в кадре

день ангельский
да свет золотой,
сельский,
в окне сарай дровяной,

голубь, карниз,
их трое у
стола, рожок из-
под молока, агу,

семья из трёх,
в пеленах дитя,
окно — то вдох,
вовсю светя,

то выдох, то
вдох, птичий грай,
ночь, стук лото —
жёлудь на сарай,

за ним другой,
проснись — подать
до них рукой —
вот отец, вот мать,

от тех, кого в мире нет,
не падает тень
на золотой свет,
ангельский день.

два окна

1

за окном закипела крона.
я проснулся, душа спала.
было сумрачно, и промозгло, и рано-рано,
и хотелось тепла, тепла.

листья, листья весь день сдувало
и прижимало к стеклу
так, что горло сдавило,
и в холодном углу

неба, неба зажглась непраздно
и промерцала звезда:
будет поздно, так поздно,
как ещё не было никогда.

и деревья возникли в теме,
постучавшей в окно, —
по краям — два — с разбойничьими ветвями
и с прямыми — в упор — одно.

2

не могло не быть неба. небо
живущему — то, чему
заказная треба
незачем, считывать ли с него тьму,

свет или косые плети
ливня. всё — благая весть.
что стихи как не минеи-чѣтѣи
узнаваний того, что есть?

двор ли это, озябший дворник
в картузѣ набекрень...
что стихи как не изборник
прощаний на каждый день?

пусть он гаснет, в поле не воин,
и окно по зиме — офорт.
если мёртвый твердит: «я мёртв», —
он живой, говорю, живой он.

вроде крошечного вихря
взвился снег за окном — дотлел
день и, прах свой развеяв тихо,
просветлел.

за дверь

я там родился я клоню
к тому что пил
там кипячённую заботу
молочную я жизни отдан
я запелёнут в простыню
я в шарф там по уши замотан
я там простыл

за дверь как выйду
ключ поверну
кто там остался я не помню
но виду не подам но виду
не ставь в вино
мне чёрную свою обиду
прочь в осень из каменоломни

похолодало я забыл
как жить я потерял уменье
как по реке как по реке
вчистую сплыл
зачем мне этот ключ в руке
и клён что по утрам вспылит
и затемненье

вот человек живёт
умрёт и нет
как мне начать уметь начать
уметь пролить на это свет
слезы пусть скажет небосвод
которому вольно молчать
простыл мой след

на плазе и потом

он продовольственных тележек,
подрагивающих на парковке,
блюстителю, и невольник слежек
за ними, и король сноровки.
он ловит вкривь несомых ветром,
вгоняя их — одну в другую —
и, наклонившись, метр за метром
ко входу правит цепь дурную.
то ярко небо, то белесо,
то льдист асфальт, то жарк и порист,
цепь, дребезжащее железо,
товарный поезд.

то воеет волком буксировщик
и скалит зубы, то бормочет,
он в металлических грохочет рощах,
батрак, то хрюкает, то квохчет,
чернорабочий на краю
людей животного быванья —
их праздник (праздник воспою!)
и убиванье, убиванье
в себе секундной тишины,
столь проявиться ждущей, —
он мне поёт в ответ, дурак страны,
звонарь поющих.

что я купил? хурмы и винограда.
вот розовый, а вот зелёный.
кому сказать «ты будешь рада»?
входил — светло, и вдруг наклонно
на убыль свет пошёл, на убыль,
и глуше голос, и тусклее краска.
не знаешь, где мой рубль?
(скажи его без «ы», будь ласка!)
нет ни людей, стемнело, ни зверья,
все поголовно
исчезли. долго перед дверью я
стою безмолвно.

диалог

*будь добра, дай зеркальце, вон
под рукой у тебя оно.
есть дыхание или вышло вон? —
ядохну, проверю, а то темно.*

*брось. когда темно, ты живой.
если страшно, ты не бывший, ты жив.
ничего, не вой. ничевой.
вот когда НИЧЕГО — значит, быв.*

*солнце за окном, согревай
душу светом. он в себе жизнь таит.
ты мне зубы не заговаривай.
мне тяжёлый труд предстоит.*

*время приравниваться.
приравниваться пора.
что нора тут делает? нет лица
на тебе. и не было. будь добра.*

на свету

явился снег обещанный,
вроде письма.
стекло чуть с трещиной,
а там зима.
стучат стекольщики.
свет бьёт в окно.
морозные его укольчики.
заменят — и обновлено.
вот смотрят, жмурятся,
ни слова, там
лишь утро йскритя
и тихо замершим кустам.
садитесь, дольщики
зимы и снега, но
стоят стекольщики.
свет бьёт в окно.
чай? чай, смущаются.
нет, говорят,
и улыбаются
все двое целиком подряд.
поверь, поверь, есть
начало всех начал:
вот эта мерность...
так молвил я и замолчал.

под фонарём

давай под этим фонарём
необычайное с подъёмом —

как если бы мы шли вдвоём
по Кировскому, рядом с домом,
и хлопьями с небес летел
и таял под ногами снег, — как если
бы завернули и желтел
Филатовской больницы (ясли,
мой Вифлеем) фасад, нас ждут, —
как если бы на запах комнат,
где наряжают ёлку, жгут
бенгальские, где нас не помнят,
поскольку мы не в прошлом, нет,
мы есть! — как если бы, в парадной
снег стряхивая, шли на свет
непререкаемый, отрадней —
он из распахнутых дверей
нас ослепит — и мы в прихожей, —
предновогоднее скорей
давай — как если бы на божий
свет шли и вышли, и не врозь
никто ни с кем, и дышим, дышим —

давай прозрачное насквозь
стихотворение напишем.

* * *

Каринэ Арутюновой

что он сжимал в горсти, сжимал в горсти,
тот нищий? ничего. куда податься?
шли поезда. цвела сирень. «часам к шести, —
чей голос вдруг? — начнёт смеркаться».
есть основания всплакнуть, прости.
нет, разрыдаться.

шли люди из дому и шли в дома.
ты помнишь коврик, а на нём пастушек?
шли поезда. цвела сирень. кто ждал письма?
калитка. белый запах стружек.
есть от чего, прости, сойти с ума,
слететь с катушек.

вот эта вся пыльца, всё вещество...
но клонит в сон. дитя, да ты зеваешь.
шли поезда. цвела сирень. проспшишь родство.
чем, ночь, ты занята? зияешь?
что я хочу сказать? да ничего.
сама всё знаешь.

* * *

возьмём, возьмём ту пересадку в Гомеле,
ночную, сонную, вдали,
где люди тихо бегают, — в соломе ли,
не на платформе ли меня нашли?
вот именно, что тихо люди, боязно
кричат, чтобы меня не разбудить —
о, не отстать бы им от поезда,
оставьте спать меня, ещё успею жить.

там в стаю суматошную сбиваются,
снаружи, и летят на фонари,
и лают, и рычат, и убиваются,
и, успокоившись, скулят внутри.
эвакуации недавней эхо ли,
тюки закидывают в тамбур и узлы,
прогрохотали через мост, проехали,
ночь звёзд, и зелени, и запаха золы.

откуда знать не тронутому временем
(узнаешь! — на заре прервётся сон...),
что под своим беспрекословным именем
ты в Книгу жизни занесён?
все эти полки! я свою запомню, нижнюю.
как мне восход июньский описать
и руку нежную, давнишнюю?
оставьте жить меня, ещё успею спать.

сестре моей жизни

радость, радость моя, воссоздам
что потеряно: каплю счастья,
каплю лампочки в коридоре,
время, когда тепло было и в ненастье
и вэйзмир звучало как весьмир, а не гóре.
кто сказал «аз воздам»?

сложим постель и её задвинем
в раздвижной диван.
тесно, но рядом дышат родные,
и на подоконнике на синем
фоне (там небо, небо) раскрыл тюльпан
лепестки, и это, радость моя, выходные.

воссоздам что потеряно: тебя, дитя,
только с улицы, от костра, пальцы в саже...
мать толчёт что-то в золотистой
ступе... в дальней комнате, ручку крутя,
вылавливает отец «вражьи
голоса» из шипа и свиста.

помни, помни квартиру, во сне
мне явившуюся стихотвореньем.
ты когда-то рассталась с ней на века,
потому воссоздам что пока
помню: банки с соленьями или вареньем,
паутину трещинок на стене.

в них маячили страны дивные, не пути
для побега, не прóволока и гетто,
и не плач, и не тот на колёсиках чемодан.
кто сказал «аз воздам»? не слышу. прости,
абсолютный слух (кто затеял это?)
мне, по-видимому, не дан.

да и смотрю я в сторону дома, вспять,
восполняя сторицей разность
между живым и убитым, я
воссоздам что потеряно. знать,
никакого отмщения и не надо, радость,
радость моя.

в ноябре

когда пантограф с провода, искря,
соскочит и качнётся, и застынет
троллейбус номер шесть, и тихо станет
в подлунном мире, я скажу: не зря
ноябрь в окне, и рифма к синеве
так неотвязна, и неотвратима,
так ей родна (и не родна — родима),
что блеском льда откликнется в Неве...
секунда — и троллейбус задрожит
и тронется, мелькнёт фонарь слепящий,
секунда — и погаснет друг пропащий,
и ток воспоминанья пробежит:
посеребрённый инеем простор,
ты из гостей, от тётки, ты ребёнок,
и переулок, твой посеребрёнок,
как жизни богоявленной притвор.

ИЮНЬ

забор цветами жёлтыми залеплен,
они, как бабочки, слетясь,
трепещут, в этот мир вжелтясь.
у слова «ослеплён» нет глаз — ослéплен.
ослéплен, я иду на ощупь.
здесь тридцать лет тому вперёд
я не смотрел, и проще б
тебе не оказаться, старый крот,
в краях, не помнящих твоей кротихи,
где холоден июньский зной
с невыносимой желтизной
цветов, что так мучительны и тихи.

СНИМОК НА БАЛКОНЕ

июнь. в секунднЫй покой его
сирень доносится со двора.
она ещё до всего, до всего,
прозрачная на просвет сестра.
черты лица её столь чисты,
как стих, где я с нею слит,
пока она из листвы, листвы,
солнцем напёенной, состоит.
и если сестра эта не моя,
и ветвь вдали не благая весть,
и если мальчик рядом не я,
то нет любви. но любовь есть.

простые вещи

ласково, по-матерински ласково,
с запахом губной помады.
кегли. шар и лакомо, и лаково
катит, катит по ковру... зачем? так надо.

или по-отцовски празднично,
руки загорелые, воскресно,
трепетно, восторженно, горячечно.
поднимается под полотенцем тесто.

вдруг тебя окликнут не по имени —
по фамилии, и неродные
люди заберут. так надо? ты меня
не зови туда, где проходные.

выйти? но душа упрямо ленится.
что мне мир и инвентарь его?
что за этой дверью, кроме лестницы?
Господи... а дерево? а зарево?

а любовь? ты прав, ты прав неслыханно.
но за ней на цыпочках, незримо —
тени прошлого... да, тихо, но
столь печально, что непоправимо.

прохожая семья в аллее

мать пожилая и сын пожилой.
сын хоть и жалок, её пожалей.
я не хочу идти следом.
я провожаю их взглядом.

медь этой липы и словно бы всхлип
листьев под ветром. мой разум ослеп,
чтоб свои мысли не видеть
и навсегда их отвадить.

мать присмирела, а отпрыск смирён
сроду — сморила хвороба, урон
сильный ему причинила.
мать много лет причитала.

медь этой липы и словно бы всхлип
листьев... ослепшего разума склеп.
поздно встают, а ложатся
рано. вот так бы ужиться.

мать пожилая и сын пожилой.
времени жалко, и ты пожалей
лужицу, ижицу в небе
птичек, пространство в ознобе.

СТИХ

на полуслове угас —
вот, бери мой обол,
куст божественных фраз
выдохся и отцвёл.

есть онемелый миг —
отчаливающий паром
и молчаливый крик
дерева под топором.

ПИСЬМО

где письмо с Голубиной
улицы, из глубинной
жизни моей-твоей,
с круглой печатью или
с треугольной? мы жили
рядом, но ты правей.

ты правей, у почтамта
деревянного, там-то
встретились мы, хотя
ты ещё не родилась,
ты ещё не рядилась
в память свою, дитя.

где письмо с Виноградской
улицы безвозвратной,
где её мотыльки
с блеском жёлто-лимонным,
с профилем их наклонным,
маленькие мирки

в хатах, где жалкий идиш —
и жилец, и подкидыш?
мой возлюбленный друг
с Паровозной, Кузнечной,
напишу: с Бесконечной,
мне дарованной вдруг,

где письмо с Водопойной
улицы, в полдень знойной,
пыльных коровьих стад
ввечеру, где тот зайчик,
девочка моя мальчик,
солнечный сон и сад?

вот оно, пред тобою,
где так вольно покою,
где ползёт муравей,
жизнь всегда допотопна
и всегда бесподобна
ты, поскольку правей.

био

где я вырос сказать где я вырос
там окно распахнуто и на вынос
занавеска тюлевая как парус
полощется на ветру
там на крышке рояля кактус
в вазе с дерева рода цитрус
апельсин во всю кожуру
светится апельсинясь

за буфетным стеклом как в рамке
вкруг графина хрустальны рюмки
двадцатипятимилиграммки
чуть войдёт кто они звенят
где я вырос я вырос в замке
в замке не на угрюм-реке
в той стране золотой спозаранку
среди волов и ягнят

там я с ними узорно вышит
точно в коврик настенный выжит
берейши́т пашет пахарь пышет
сноп и мельница вдалеке
если хочешь собака брешет
снег ли запороши́т и утешит
так что спишь и тебя там пишет
тишина в строке

Лир в саду

день твой жесток. держась за перила
лестницы, тихой тенью спускаешься
в сад, и внезапно, пока не сморило,
вспомнишь, как дочь такой одарила
болью, что закачаешься!

время раскачиваться, время
мерно раскачиваться, ты онемел, молчи,
глядя сквозь дрёму на дерева дрёму,
зелени лень и её истому,
все эти мелочи.

руку лишь протяни и ветку потрогай —
то-то рукопожатие...
жизнь продолжается, но, ей богу,
как продолжать её?

взять и несмелых шагов многоточие
оборвать и, в сердце ночь тая...
пусть оно разорвётся в клочья,
если дочь не придёт и не молвит: дочь я,
дочь твоя, дочь твоя.

день твой жесток, и время вплотную
жизнь полюбить вечную, ту, что незрима —
стих её приближает, исчерпывая земную
и примиряя её, зыбкую и родную,
с неоспоримой.

* * *

я помню умирающего друга,
как он хватался за голову вдруг —
то замыкался мозг его на ужас
и пробегал по телу белый ток.
как шевелящиеся камни,
в нём, зримо проявляясь, зрели мысли
и оголялись, становясь всё больше
в слабеющем прибое жизни.
иссякнет жизнь — и дорастут до неба,
он станет ими — значит, не узнает
себя... и вдруг он видит слепо,
как мальчик с берега бросает
за камнем камень в море, нет ещё
в помине ничего, и он себя
не знает. всплеск — и тишина, и всплеск,
и тишина, и этим без единой мысли
блаженством утреннего часа
пустым он предугадан весь.
и на мгновение спасён, спасён.

ДАЛЬНИЙ МОТИВ

в солнечной Вероне,
где течёт река Адидже
так, как если бы она в последний
раз текла, как если бы текла впервые,
в солнечной Вероне,
где течёт река Адидже,
мельком вечно жить, да, вечно мельком,
просыпаясь раньше,
чем успел увидеть первый сон,
потому что превратила ночь в созвездье
юношу, который от любви,
умер (не в саду ли Капулетти
что-то в этом роде говорилось?),
в солнечной Вероне,
где течёт река Адидже,
где, воскреснув, он в кафе сидит,
никого не любящий, спокойный,
и потягивает Амагоне,
и на арки Ponte Pietra смотрит, щурясь —
ничего в тот полдень не случилось,
кроме не написанных ещё
строк никчёмных,
в солнечной Вероне.

без прописных

1

ты есть, и вдруг затих,
и нет, не будет больше...
я знаю, иссякает стих,
но не любовь же.
страх и его — едва сюда
пришёл — слепой накрап, но...
но смерть обыденна всегда,
а жизнь внезапна.
я знаю, кто меня ведёт
и что сулит, какие брашна.
гранатовое дерево цветёт
за всех. не страшно.

2

как быстро темнеет —
день, вспыхнув, погас.
но чудо всегда ли имеет
счастливый окрас?
запомни: бывает
печально оно,
когда свет вовне убывает,
но светится дно.
так музыка прячет
в своей глубине
нить краткую: время, а значит,
чудесна вдвойне.

сад

там, с обратной
стороны, где ступенчатая утроба,
постоим, чтоб выныривание из парадной
обозначить особо.

но сначала, любимый
друг мой, запах вдохнём
лестницы, холод её нелюдимый
в том углу — в левом? правом? — да, в нём.

будем зорки,
навсегда будем зорки, так надо:
разломить створки раковины, эти створки
в яркость сада.

взрыв, вдох-выдох-
вдох, и цвет в закипающем веществе,
и поющий хаотичный порядок тихих
птиц в листве.

восхишение — не излишек,
но избыток дня, и свеченье,
и шиповника в соразмерности вспышек
роз — цветенье.

звонкость гонга
в лопушином листе, море плещет,
и поодаль сквозь зелень пинг-понговый
шарик блещет.

строк старание,
друг любимый, ты ближе строки
этой, ближе... ближе, чем на расстоянии
вытянутой руки.

райский, — спросишь, —
сад? в гремящей этой тиши,
в этой... помнишь ли слово «роскошь»?..
да?.. тогда допиши.

* * *

распечатать письмо?
бел конверт.
пусть полежит оно.
тишина мой ответ.

я боюсь, говорю.
что тебе от меня?
мало ли, что внутри.
повременю.

это как если я
до рождения есть,
не зная себя.
разве желанна весть?

я письмо поднесу
к лампе — да или нет?
подержу на весу,
на просвет.

вижу: вдвое лежит
сложенный ждать.
одарит и лишит.
и одарит опять.

* * *

красная майка твоя,
брошенная на стул,
такая, мой бог, маленькая,
солнце сухое тая
и мерного моря гул,

так и лежит на нём —
ни тебя, ни его,
мальчика твоего.
только я захожу тайком
от себя самого

и непрожитому: иди, —
говорю, — сюда,
и притягиваю к груди,
сгорев от стыда.
но в комнате той всегда

легко и светло,
легко и светло, мой бог,
если ты одинок
не ущербно и зло,
а как в горле комок.

лес

замрёт в какой-то стойке волевой,
упруг и жилист,
когда бесчисленной и лиственной волной
нахлынет шелест.

и кроны станут брызгами огня,
и он вдоль поля —
как если б тысячи младенцев в люльках дня
рукоплескали.

а стихнув, чуть сойдёт на нет накрап,
он в небо, вверясь
ему, всей чешуёю вертикальных рыб
идёт на нерест.

он вслушается в небо и в улов
ночной, как в мессу,
и небо выводком серебряных мальков
ответит лесу.

из Готфрида Бенна

пока палач бесчинствует, поплачем
и поскорбим,
мы страусы, мы головы попрячем
не вострубим.

смотри, смотри, как совестливо дышит,
когда на бис,
кисть обмакнув, свои полотна пишет
полотнопис,

как исподволь (зато в душе раздолье!)
творит добро
тот, кто веками вечное в подполье
точил перо.

будь классиком! они не умирают —
один из них
писал, что времена не выбирают,
живи в любых...

шалишь! мы выбирали это время,
мы тут как тут,
мы племя страха, страусово племя,
мы страшный суд

над собственной жизнью в скобках.
давай, давай,
бесчинствуй, мразь, и струсивших уёбков
поубивай.

на берегу

небо несчастному босо,
лысо, да и наплевать,
времени рябкое просо
носом клюёт, чтоб склевать.

дурно ему. он икает.
море унывно сквозь сон
всё на песок набегает.
раз — и скрутилось в рулон.

два — бездыханное тело.
где там душа? отделись!
бабочкой отлетела
в неба несметную высь.

непостижимость несметна,
только она и жива.
а постижимое смертно.
куколка — видишь? — мертва.

если уж небо — набатом,
громом его тишины,
если уж море — накатом,
властной лаской волны.

если уж время — пространством
света, не этим, иным,
таинством и постоянством
таинства вневременным.

Один день

воздух руками ловлю.
палец за пальцем люблю
кулачок раскрывать —
времечко убивать.

маленький кулачок ты мой,
что внутри? золотой?
как раскрою его,
кроме линий, там ничего.

так что в третьей строке
не вздумай спросить,
что и в какой руке,
чтобы в скорби не голосить.

день бывает, как ни храни
его, как ни воспой,
неродившемуся сродни,
так он чист собой.

городок

там, где долго жизни краткость
длится, гнёзда вьют,
мерно-мирная опрятность,
встроенный уют,

кротки краткие здесь речи,
тих веранды свет,
точно воли человечьи
сведены на нет,

там, где веки праздным утром
размыкают сон,
луч рассветный к златокудрым
рифмам поднесён,

плоть ребёнка ровно значит
то, что есть она,
и душа ещё не плачет,
с ней разлучена, —

здесь, где мысль живёт в обличье
там- и здесь-реки,
в междуречье, в перептичье,
в чуточках строки.

древо

достоверно дерево
до мозга костей.
верю, верю во
всё, что Ты сотворил
для Твоих гостей:
верю в птичьих крыл
фигурные скобочки,
в созвездий точки.

куст когтист в декабре,
пышен в июне.
верю, что в творении
ни «е», ни «и»
не исчезают втуне.
мышь в норе
явна глаз угольками,
жизни долька.

я вхожу в леса,
доверяясь зверю,
глядя в его в глаза.
но что мать моя умерла,
никогда не поверю.
нет такого: дотла.
древо светится
изнутри и ветвится.

ПСАЛОМ

сердце, сердце левое моё, Господи, — право! —
потому разрывает грудь.
дай прозренья мне, чтоб воссияла слава,
слава Твоя, Господи, или вовсе меня забудь.
видишь зависть мою к этим куцым
умом безумцам —

к ним, не знающим, что не изъеден
лепрой и не в рваньё убийца
(пусть издохнет в гниении каждая в нём крупица!)
и что смерть истребляет того, кто беден
и беззащитен? раз мне выпало сбыться,
сделай так, чтоб я стал неведен.

каракурты сѣти ткут, началась путѣна —
на людей, не рыб,
началась охота. разгрязло небо, оно трясина.
в луже моря, среди осклизлых глыб,
вижу тушу,
чьи глаза от жира выкатились наружу.

для того ли я сердце своё очищал вседенно
и всенощно и руки
омывал в невинности, чтоб себя на съеденье
людоедам отдать, давящимся жратвой от скуки,
живодёрам? конец ли света
Ты задумал? Ты видел это?

пошатнулись ноги мои, теперь я знаю:
пошатнулись. не себя обличая,
жил, но едва прозрел, увидел: сытую стаю
Ты обрѣк на ублюдочность. разве не жил рыча я,
как они? но сердце окрепло,
восстав из пепла.

через тире-1

со старинной резьбой буфет —
на его лафете
граф графин,
запылавший чуть свет, —
а не граф, так дофин —
как захочешь, солнце моё, мы дети —

от дофина до финского два шага —
в правом ящике под лафетом —
там ещё в фуляре бинокль,
от него духами веет и высшим светом,
ты прости, моё солнце, рифму «монокль» —
он в глазу романного дурака, —

финка! нет, складной перочинный —
счастье сжатого кулачка —
сокровенный вес —
сколько скрытых в прорезях лезвийц —
я ведь, солнце моё, с той же лестницы —
в ту же дырку в заборе пролез —
я с тобой, но поодаль, иду с катка —

разве с варежки ты не ела снег?
нет? не ты? не ты говоришь: пока?
я запомнил тебя навек —

чёрно-белое фото —
третий «а» или четвёртый «б» —
мы в конверте, в ящике, я хочу к тебе —
чук и гек, отцовские письма с фронта —
я вернусь, у нас будет сын —
я смотрю в буфет — вижу сына
отраженье в стекле, он один —
нет ни матери, ни отца —
там на дне
нотный лист, сонатина —
я учил её без конца —

сон и тина
сна, иди на —
заплетается звук в музыкальном моменте,
дай вплести мне Клемéнти,
до мажор — да, иди на
брат мой враг мой Клемéнти —

мука, Мүцио, мука моя —
скука, гамма —

в левом ящике телеграмма,
пожелтели края —
тем пронзительней, чем старее —
не могу без тебя приезжай скорее —
заполнение бланка —
тычь в чернильницу перьевой —
очередь, перебранка —
стыдно текст отдавать — он живой —
в полукруглое
углое
будьте любезны —
жду целую — чей голос из бездны? —
жду целую люблю тчк

показания счётчика —
всё оплачено и обеганы все инстанции —
квиты, это квитанции —
ничего не должны за свет —
расплатились, нас нет —

в кухне — голос из бездны — оставил, пойдя погаси,
что ж, да будет воля Твоя на земли яко на небесі —

больно перекликаться,
но скажу тебе на прощанье, расписываясь слезами, —
я успел погасить облигации
трёхпроцентного займа —

видишь эти таблицы —
как ты всматривался, номер ища —
номер свой! — эти лица! —
щастье пишут теперь со «ща»,
чтоб мгновеннее слиться —

щастье рюмочек — эти —
над лафетом — из чистого хрусталя —
выпить, чтоб покачнулась земля? —
как захочешь, солнце моё, мы дети.

музыка рождения

о пенных гребнях мой черёд стихи
писать волнуясь мой черёд стихи
как если бы там пряжу пряли
как если бы цветы черёмухи
как если бы цветы черёмухи
там закипали

ты море море многоликое
ты море море многоликое
чтоб наглядеться жизни мало
как будто дерево оливковое
как будто дерево оливковое
тобою стало

ты примешь звёздным испещрённое
мерцаньем море испещрённое
вновь народившуюся еле
заметную дитя крещёное
звезду дитя дитя крещённое
в морской купели

у окна

я пью с тобой, нелюдь.
душа не болит.
тем более, наледь
глаза стекленит.

ты помнишь, намедни
здесь был человек?
он знал, что целебней,
и к слову прибег.

но прежде он выбил
окно — за окном
(ты выпил? я выпил),
объятый огнём,

кричал ещё кто-то.
(по новой? налей)
той ночью охота
велась на людей.

«есть матери, дети, —
сказал человек, —
есть горе на свете.
отныне навек

будь там, где унижен,
замучен, распят
живущий и выжжен
взращённый им сад».

что ж, будем. я выпью
за это с тобой,
мы скованы цепью,
подлец, ледяной.

через тире-2

чуть рассвет — на работу — завод «грампластинка» —
что-то вертится в голове —
он выходит — не в духе — во двор — на дворе —
мы сдаёмся? — белеет простынка
на ветру и мерцает звезда в синеве —

сколько лет катастрофе? —

на Вороньей горе, на Вороньей горе
в Дудергофе —

узкоплеч, и сутул он, и сир —
там я книгу увидел — война — под названьем — и мир —
рядовой Меерсон и жена-командир —

«Меерсон свой накрутит закон, —
говорит тётя Роня, —
(это значит: какао) —
шмыг — и нет, — а всё хнычет, что хворый», —
очень скоро уедет на скорой
и умрёт Меерсон, —

на Вороньей горе — как с Вороньей
бьют враги — помнишь? — по Ленинграду —

мы сдаёмся? — белеет простынка —
что-то вертится — дали награду? —
обошли? — вон любимый, он в дымке —

в синей дымке — любимый — он тает,
город — дом твой знакомый, и сад —
сад зелёный и взгляд —

нежный взгляд — на работу — завод «грампластинка» —
на Ореховой — густо разросшийся лес —
Марк Бернес, —

на дороге коровьи лепёшки,
как пластинки в пыли —
вкруг мальчишки —
подрывают булыжником «мины» —
лица жижей заляпаны — и — разбежались вдали,
наигравшись в «веснушки», —
в бледных майках — я вижу их спины —

и синеют сирени вовсю, и белеют жасмины —

Меерсон возвращается — вечер — он в духе —
что-то вертится, вертится — музыка сфер —
на пороге встречает его одноухий
кот по имени Пьер —

другу

в полях летейских ночь немая.
а здесь спектакль — его-то и присним
себе... но Царское — что делать с ним?
но школьный гул с флажками Первомая...

парадных поздних перестуки
и окна в белую распахнутые даль —
кому?.. аллея осиротевших жаль,
протягивающих слепые руки.

в летейском сне мой взгляд зацепит
норд-вестом траченную синь вон ту
забытого на Троицком мосту
флажка, его дырявый трепет...

ребячий на подмостках крик... за сценой
истаивает дорогая тень.
но оставаться на продлённый день
и прежде не хотелось, друг бесценный.

песнь творцу

царск детск
свеж орех
грецк

солнца мерц
мехá
двух сердц

платъя ситц
колесо
мельк спиц

царск и всё
по лицу
блиц луча

песнь творцу

моё золотое фламенко

лодочки апельсиновая долька.
мне всего лишь привиделось,
что столь много (по сути — нисколько)
без тебя жизни выдалось.

словно, облокотясь на перила,
над рекою стояла, как нищая,
тишина, но, когда воспарила,
стала всей синевою насыщена.

городок тот был вылитым
раем — помнишь, нам сосны светили?
мы ещё проходили там.
боже мой, как мы там проходили —

мёд лённый
медленный
звон медный пчелиный
городок солнцем полдня намоленный
к ночи горит лучиной —

шли — ты помнишь? — по Привокзальной,
по Железнодорожной, Товарной —
там остался рисунок наскальный,
светозарный —

это оттиски рук наших — крона
остролистного клёна,
это плавные линии шей
двух на выпасе лошадей.

помнишь? — за Приречной, за Луговой
любовались ими — так тихо они паслись,
как закат в оконце на Угловой.
мы ещё проходили там и спаслись —

рей угольный
краеугольный
ковш ночи звёздный
гул гул её нескончаемый колокольный
и гудок паровозный.

зеркальное

день. но в сквозном луче
видеть невмочь
свет, в толчее
исчезающий что ни ночь.

люди жадны, трусливы, злы.
благо, жизнь коротка.
веки стали мне тяжелы,
точно на них века.

ночь. но стоит закрыть глаза,
свет изнутри
пробивается за
ресницы мои,

и не бывает врозь,
и любовь не тень,
но — мой состав насквозь,
воскресающий что ни день.

* * *

жить бы нам в дальней дали от доморощенной дряни
где-нибудь, радость, радость моя, в Тоскане.

так залюбоваться тобой посреди разговора,
что не увидать великолепия ни площади их, ни собора.

Он учил тому, что мы есть: любви, — но Его поминают
не одними молитвами, но и тем, что опять распинают.

нам родиться бы при герцоге Пьетро в Уфицци,
но жизнь началась при убийце и кончится при убийце.

* * *

топочется, земля к подошве почвится,
выстукиваешь ритм ходьбой,
а червь прислушивается худой
с той стороны, куда не хочется.

бродяжится вещам природы, кажется,
что исчезают на глазах,
прозрачное дитя вбирает страх,
едва занежится в лучах, завяжется.

потом за партою — на лбу испарина —
точно приковано навек,
оно в окно глядит: там розов снег —
ему заря на чёрный день подарена.

но нет, неприбыльна, скорее угольна
заря за деревом, вся в тишине,
и щупло тельца в форменном сукне
шершавом рыпаются кукольно.

но как бы так отчаяться, и рыпнуться,
и выбраться на берег на волне
любви, и пусть вчерашнее во мне
с собой прощально перехрипнется.

по вере нам, в миру затерянным,
воздастся — господи, освободись,
чтоб мысли смертоносной слизь
избыть, залюбовавшись деревом.

через тире-З

в ставнях вырезанные сердечки — в них
утром солнце — что ни утро — солнце —
искры в сердцевидное оконце
сыплются как от камней точильных —

ты проснёшься в утренней истоме —
длящийся неслыханный неимоверный день —
ноги в чернозёме —
босиком к реке — изгибчивых белеет лилий лень —

нет вы только посмотрите — крик кому-то
вслед — вы только посмотрите —
упряжь ремешки хомут —
и невидимые нити
от тебя ко мне
тянутся — и жизнь безумится вовне —

вот он закрывает двери ставни
Цимеринов закрывает — нет доверья —
донесут — ты помнишь давни
дни — там голос би-би-си звучит за дверью —

бабочка в малиннике —
бабочка-боярышница-бабочка —
бабочка моя молитвенник —
белых двух страниц мигание —
вся прозрачная то дышит то не дышит слитно —
в полдне есть разгар и есть недомогание —

с дождевой водой кривая бочка
у крыльца —
а во рту мальчонки дудник-трубочка —
он плюётся —
и стрекоз очкастых рыльца —

а с базара — лук укроп чеснок — плетётся
канторша — ей торговаться влать и рыться
в снеди — нет вы только посмотрите — срам —
ходит Смагаринский брови супит
дует в задницу курям —
не подув — не купит —

порознь оттуда мы уйдём — огонь лишь
пробежит по кровле дрожью —
мы ещё там незнакомы — но сведётся
кровной линия судьбы с твоей — ты помнишь
мы уйдём когда на Божьей
улице затеется пожар ночной займётся —

ПЕСНЯ

на душе такая ноша-ношенька,
когда на кладбище иду.
стынут ноги мои ноженьки.
пришла. сейчас его найду.

говорю: скажи своей Аннушке,
куда ты канул? он молчит.
лежат не шелохнутся камушки.
каждый в сердце моё стучит.

всё ему хаханьки хиханьки
пока дышал. а теперь нет как нет.
день осенний тихий-тихонький.
и не дерево стоит — скелет.

похолодало. вечер брезжится.
пячусь. говорю: прости.
но как будто держит, держится
за меня. ноги не идут почти.

не идут. вернулась. тоненький,
показалось, птичий звенит
голос. холод этот холодненький
обняла. называется гранит.

на душе такая ноша-ношенька,
какой не было. как же так,
что стою одна-одинёшенька,
но вдвоём. не отпускает никак.

* * *

кленовый в покое
застынет, изящен и сух,
и дальше что-то такое
уловит мой слух —
допустим, как небо немеет
и слышимые едва —
«у нас потихоньку темнеет» —
твои золотые слова.

встреча

постукивание чайной по скорлупе
ложечки. ломкое утро. сонно тебе.
небо в окне,
как белый урок рисования.

кисти деревьев в стакане двора.

школу прогуливая впервые —
мимо, — шаг замедляя до тишины —
вздрагиваешь — казённая перегорает внутри
лампочка и рассыпается на мурашки.

ты отныне озарено только собою, дитя.

и хотя

нет ещё на свете тебя, на свете моём,
но заранее —
в объёме воздуха —
вижу твоё замирание.

твоё замирание в точке чистого вдоха.

встреча встреча

когда твоя память впервые стала моей,
я увидел: там нет меня и в помине,
и молча я ей приказал: не смей!..
господи, крик вопиющего сдох в пустыне.

тогда я повадился проникать в твою
память (и воцарялось лето
в непостижимом хвойном сосновом),
проникать, как в кино без билета.

там шёл под открытым небом фильм,
дитя, ты сидела слева.
в полдень был городок пыльн,
а вечером — с запахами хлеба и хлева.

а поутру в открытые окна речной
воздух тёк — ты проходила мимо,
а Млечный так полыхал ночной
путь, что я там прочитывал твоё имя.

и когда ты уже ступить не могла
без меня ни шагу, когда я вселился, ей
богу, в ту жизнь, где ты насквозь светла
и любима, я памятью стал, но уже твоей.

ИСХОД

поезд паровозных искр.
кончено. без пересадок.
позднее спасенье. прииск.
дня остаток

выпит. ночь. «гори, гори...»
их романс мне тошнотворен.
лагерные фонари.
свет проезжий, будь зашгорен.

мы одни с тобою. пуст
поезд. если что и вспыхнет,
то в уме: горящий куст.
да не стихнет!

куст горящий, полыхай.
не было и нет нам дома.
Ицхак, Янкель, Мордехай,
Мендель, Шломо.

ночь. романс «умру ли я...»
с пьяною слезой с платформы
донесётся. жизнь моя,
их пайки, участки, нормы

нам не в пору. здесь он, дом.
никуда мы не прибудем.
мы одни с тобой вдвоём.
мы пребудем.

через тире-4

на твоих глазах — иди сюда — оно затеплится —

слышишь, как звучит: сплавляют брёвна —
или вот ещё: Заставье, мельницы —
водяные мельницы — как ровно
дышит слово, становясь дыханьем словно —
кружевницы кружатся, смеются рукодельницы —

как под ними замирают чашечки и блюдца
чистотела, льна, ромашки — в зное
замирают — видишь, как неумолимо льются
звуки, как ютится в них иное —
как ведут коней на водопой, а ввечеру в ночное —

как едят хлеб с огурцом и редькой,
или керченскую сельдь, или вино пьют
бессарабское — и что ни день, то — редкий,
укротить его ещё бессилён опыт —
в поле дым костра — (стою, зажмурясь) — едкий —

это слёзы — это след простыл и стихнул топот —

adieu

ты ослеп? тогда надень очки —
во дворе играют в ножички.
отходные — с круга не сойти! —
трупами завалены пути.
на носу, мой мальчик, заруби:
быть (to be) и значит not to be.

жить неотвратимо — значит жить
кратко, лишнего не говорить.
вышел, завязал на шее шарф
(если вышел в Англии, то scarf),
очи поднял — бойня на дворе,
и повесился на фонаре.

спать, уснуть, как рыба без воды,
где ни света нет, ни темноты.
те, кто спят по-мёртвому, честны.
только немощные видят сны.
что ж, adieu, а сам повремени
и меня в молитвах помяни.

p. s.

всё любящее отстоять...
но если жизнь срезается под корень,
я выбираю смерть, и значит, «быть»
равно «не быть». я ставлю точку, мать.
се человек? но путь земной позорен
того, кто хочет звук и цвет убить.

где первое лицо — подлец,
в империи, где мерзкие спектакли —
отрада публике (она спилась),
я третьим стал (of course!) лицом, отец.
я — *он*. и мы с тобой — *они*, не так ли?
лексема «дальше — тишина» сбывлась.

ни прегрешений, ни утех.
здесь, в этом поле, снег не обеляет,
ночь не чернит, и некого любить.
здесь, в этом поле, бродят души тех,
кто на снегу следов не оставляет.
и нет вопроса «быть или не быть».

беспамятство здесь властелин.
и лишь строка моя неисцелима,
как если б снилось белой белизне,
как если б снилось слепоте долин
Офелии оливковое имя,
столь серебрящееся в смертном сне.

фотография

осенняя и светящаяся
пора обнищания.
излучение, становящееся
излучиною прощания.

птичка вылетевшая.
девочка маленькая.
мать её, выглядящая
молодо, чуть печальная.

девочка жмурящаяся,
левой рукой от солнца,
заходящего в будущее,
заслоняется и смеётся,

отец, держащий
ладонь на плече
дочери. дрожащие
листья в правой её руке.

запечатлённая
жизнь, иголка в стогу.
я смотрю влюблённо
и наглядеться на них не могу.

молчание на набережной

набережная. вечереет.
с овчаркой друг.
(он давно не стареет,
отбившись от рук

жизни). труба котельной.
валит серенький дым.
осенью беспредельной
постоим-поглядим

на подветренную распевку
тополей в голый рост,
на ледяную Невку
и на Елагин мост.

постоим до первого снега.
помнишь Блока в тот год?
здесь пролегал из света
в сумрак его переход.

оснежённые в дальней
дали колонны, дня
угасание, друг печальный
и два огня.

котельная. моя наградная —
под мерцаньем светил —
набережная родная,
я тебя посетил

и, благодаря за встречу,
чуть не сказал:
я тебя обессмерчу.
но промолчал.

через тире-5

оле-лукойе — сны отлетели — оле-лукойе —

льдистый асфальт Ибрагим посыпает солью —
сколькo игольчатого слепящего болью —

поле белеет двора от парадной до школьной
двери — до штольни краеугольной —

мимо котельной — поодаль — котельной —
вот я с угольником — с дрожью нательной —

оле-лукойе — где я? на кой я? — оле-лукойе —

дай это снежное поле обратно я одолею —
двор между школой и домом — (потом заболею —

камфорой весь пропахну и выпою птичью —
содовым полосканием — песню курлыгью) —

поле стыда — точно пойман с поличным —
на пузыре портфеля переплываю бычьем —

оле-лукойе — поле покоя — оле-лукойе —

через тире-б

говорю тебе: веранда, веранда, веранда —
это завтрак, это утро — опрятна
и прозрачна она, не оспоришь
свет её — как мне слово в три слога отратно! —
дрожь в три слога её виноградна —
говорю — а если так, ты мне вторишь —

я тебе это бисером вышью —
финикийским бисером, пылкой
самородицей-душой моей — если суше:
вынимается шпилькой из вишни
косточка, именно шпилькой —
тесто с лёгкой синевою снаружи

на тарелке — надкуси — и прольётся
обжигающий кисло-сладкий —
этот фартук, весь в муке, эти локти —
где-то цепь позвякивает — вóрот колодца —
выйдешь — выйдешь — из конюшни украдкой
запах пота лошадиного и дёгтя —

Феня вечером спустится в погреб —
холод в погребе — запасы проверить —
ну а я воспоминанье затеплю —
«шею мыть и спать! — чей-то окрик —
ах, мамзейрим...» — с чем соразмерить? —
счастье, чтоб мне провалиться сквозь землю —

ШЕСТЬ ШАГОВ

им имя — нет пути назад —
интеллигенто —
и если это не закат,
то что же это? —

песками — на самумный суд
идут верблюды
и сонной совести несут
впотьмах сосуды —

пустыней, где таких, как мы,
не счесть, мы дети
песочниц, потому нас тьмы,
мы вхожи в эти

пески, где мне никто не друг —
(всё только мнилось!) —
где та, единственная, вдруг
переменилась —

плевать на всех, но ты, поэм
моих отрада,
(прости за пафос) — *ты* зачем?
в чём виновата? —

погонщик-время гонит скот,
чтоб сжить со света,
и если это не исход,
то что же это?

ПОЧТИ ЛЕТЯ

как птицу кареглазую сберечь,
сидящую на подоконнике?
не написать ли хроники
предвечных встреч?

как день начальной осени насквозь
прошил моё стихотворение,
как боковое зрение
тобой зажглось,

как глянула в кафе из-за стекла —
(ещё держала в лапке лист она
острокленовый) — пристально,
как бы игла,

и как от птичьих кареглазых свёрл
и встречнейших моих (два синие!)
забились пульсы сильные
в горнилах горл,

как на террасе пили апероль —
ты клювом, я через соломинку —
и солнца луч истоминку
дарил нам столяр

счастливую, что я, словно дитя,
был полон тайными всесильями,
а ты махала крыльями,
почти летя.

Вендельштайн

утра летнего безлюдца
приютится и полюбится

на столе белеют яблоки
у дверей сарая грабельки

в затенённой спальне лёгонький
спит ребёнок оголённенький

в ветках солнышко балуется
всё само собой любится

дальний у запруды льющийся
голос реченьки смеющийся

ах куда ты тянешь батюшки
семенящий бег собачишки

только то запечатлеется
что лепечет и лелеется

* * *

когда я о ней,
о ней говорю я,
скрещенью фонарных огней
свой лепетный трепет дарю,

мы часом ночным,
душа, понимаем,
что если и это ничем
кончается, Он невменяем.

* * *

как бы зиждиться забвеньями?
вот ведь, что ни взмах ресницы,
мерзкими поползновеньями
воздух, брезгуя, грязнится.

как бельё пронумерованный,
ты постиран и приглажен,
кровопивец гримированный,
унавожен и уважен.

не хочу звериный дар нести —
что пошлее и постылее?
я не страсть, но немощь старости
славлю и покой бессилия.

не того, когда не ранится
тихая душа усердная,
ибо и тебя, избранница,
славлю, всякий миг бессмертная.

* * *

пока я солнцем с головы по пояс
облит и взят в витринное окно,
пока иду по улочке, одной из
немногих, где так дышится сквозно,

пока фонтан на площади старинной,
пока базар и детский сыплет визг,
пока корзинку с выпуклой малиной,
переливающуюся от брызг,

несу, пока я только что родился
и не скворчат вечерние сверчки,
ты смотришь на меня, чтоб я продлился,
во все свои чудесные зрочки.

* * *

какая единственность!
как нитка в ушко.
сказал бы: единственность, —
но слишком легко.
какая уставленность
в зимы белизну!
сказал бы: оставленность, —
но эхо в лесу.
какая уловленность
в секундную сеть!
сказал бы: в условленность, —
но стыдно посметь.

ХУДОЖНИК

он творит полотно,
бледный как полотно,
потому что война.
его участь двойна
и странна.

он с одной стороны
сын роскошной весны,
а с другой стороны —
сатаны.

пот кровавый кровит,
всё залить норовит.

он с одной стороны
сыт и пьян, пьян и сыт,
а с другой стороны
он убит.

он войне отомстит.
он урон возместит.
райский сад на холсте
бог простит на кресте,
бог простит.

за краем

перелистнется
в золотую,
а когда облетит — затаится,
и приблизится,
и плотную,
вплотную
и вслепую стынь-полночь-темница

так приластится,
убивая,
что дыхание тихое деревца
вдруг разладится,
убывая.
только стая,
стая снега в ночь мою всвѣтится.

через тире-7

сестре Инне

как я любил гостей — их нет в природе —
всё разлетелось в пух и прах —
шарфы и шапки на комод
и праздничная толчея в дверях —

конец пятидесятых — отсвет дальний —
мутоновые шубки и пальто
впавалку на кровати в спальне —
ещё никто

не вышел ни на лестничную клетку,
ни в ночь во двор —
и припозднившийся на табуретку
садится с краю — и гремит античный хор —

«когда мы были молоды, бродили...» —
как корифей неотразим —
как над орхестрой лампочки светили
в одну из оснежённых зим —

как по-бенгальски вспыхивают ночи
и весь фаянс-фарфор-хрусталь —
а пальцы корифея так охочи
до клавиш — чёрным озером рояль —

как я любил гостей моей сестрицы —
их шёпоты — их шапито —
их танцы, их шелка, вельветы, ситцы —
ещё никто

не вышел, не ушёл — ещё встречают
они январскую зарю —
мне девять лет — меня не замечают —
я зачарованно на них смотрю —

очерк

как, восходя, бытийственна,
медленна и таинственна,

а, разгоревшись, витийственна,
ветрена и воинственна,

так на ущербе убыстрена,
выхолощена, убийственна,

безнадёжна, безлиственна,
божественна и единственна.

через тире-8

нити паутины то колечками,
то лучами — виснут косенько —

тку своё — вот скатерть — вот с колечками
золотыми руки вижу — Басенька и Ёсенька —

сёстры — Рива, Неся,
Бася, Доба — все четыре здесь (я,

пятиклассник, тоже) — смех в застолье плещется —
Басенька басит, а Ёсенька писклявит —
он и телом худенький, и на диете — лечится —
то молчит, а то свой ум проявит —
на Путиловском он тракторами правит —

«ай-яй-яй — а гиц ин трактор —
в нём ума палатка номер шесть» —
provokator,
подмигнёт Арончик Ривочке —

им не время тлеть — им время цвествь —
чокнутся и высекут искриночки —
водочка качнётся в тонконогой рюмочке —

вот ведь как всё высверкнуто —
как у беркута
голубое око — на трельяже — редко, ярко,
непомеркнуто —

должен дом сиять — хозяйке нравится
угощать, пусть вылетают из бутылок пробочки —
«а мизинке а красавице» —
это Рива — младшей, Добочке —

ах, гефилте фиш в тарелках —
дом не должен плакать — фрейлех, фрейлех —

во дворе черёмуха — прозрачная смола
с веток падает — застолье — жизнь светла —

разойдутся гости — комната во мглу
погрузится — паучок заснёт в углу —

ШЁПОТОМ

игры в прятки Твои...
подпою:
«что таишь, то и таи» —
«и таю, и таю, и таю».

свет в темноте.
никого нигде.

«нет, не хочу гадать.
я иду искать.
как ещё провести
время мне? просвети».

«водишь? вот и води.
тонким пером води.

ты перед лицом
ясности, ты
перед отцом
и матерью — их черты

высвечены, и это свет
тех, кого нет».

МИМЫ

обеденный час.
приправлена улица гарью.
плетущейся паре
она в самый раз.

невидимых пут
невольники. ходят по кругу.
ни слова друг другу.
ни взгляда. идут.

то он, то она
чуть-чуть впереди, на полшага.
витрина продмага.
аптека. подтёки. стена.

те шрамы вины,
обиды, боязни, печали,
что остро болели вначале,
давно не видны.

он дверь придержал.
кафе никакое.
час в мёртвом покое.
она дышала и он дышал.

* * *

помню горение
тары дощатой зимой,
львиное рвение
пламени с рыжей каймой.
так непомерно оно,
что в глазах от огня темно.

часами стоял на заднем дворе,
смотрел
внутри себя, старел.

смотрел в подвал
на обноски зла,
на плесень страха, — и только шквал
языкастый меня отвлекал
от подпольного барахла.

помню горение
тары совсем другой,
и над ней парение
хищной боли моей —
это память, но не моя — её,
тайный божок.
помню, как собрал тряпьё
прошлого, где мы порознь, и сжёг.

через тире-9

сладковатый и сырой, сырой
воздух — Царское — отравлен Царским —
ранней, жёлтой, скользкою порой —

юноша любитесь игрой
света, как стеклом венецианским —
ветви с наледью — он в барской

шубе — в чёрном девушка в окне —
скоро юношам она подарит звук «акме»
ахнувшей фамилией татарской —

(по акациевой я иду — искрись, искрись,
детское моё — я возле арки
с нянюшкой — Большой каприз —

по акациевой аллее в парке —
на мгновенье в тень и вниз —
я здесь возрастал, и гаснул день, и ярки

фонари в ночи — и в тамбуре сигарки) —
лязг сцеплений — времени горька
гарь — не кипарисовый ларец ларька —

в чёрном платье женщина в слезах —
я пришла к поэту... — на Смоленском
превратится Александр в прах... —

воздух с тусклым блеском —
саваном Серебряного века —
август — расстреляли человека —

точка пули — есть ли кто в живых? —
дни кончаются, когда о них
свет воспоминания утих —

тени в озерцах зеркал —
сердце пресеклось — бывай, вокзал
Царскосельский! — дальше на трамвай —

руки в рукава не продевай
барской шубы (легче скинуть, если
грабят) — петербургский день — за желчь

петербургского... — я засыпаю в кресле —
утро в сумерках, и лампу лень зажечь —
мимо, тени! — дрогнули — исчезли —

* * *

хвоей пахнет остро и сильно.
золотящийся лес дерев.
на краю его лесопильня.
что ты делал там, замерев?
что? я в первой строке родился.
во второй вдыхал жизни срез.
в третьей умер и притворился,
что в четвёртой воскрес.

СОДЕРЖАНИЕ

за городом.....	5
Готланд.....	6
«соберём хворост прошлого...».....	7
«окраины рана открытая...».....	8
петербургское.....	9
«будешь мелкой дрожью ещё дрожать...».....	10
сороковины.....	11
сон.....	12
«дверью хлопнула и ушла...».....	13
«дай письма равносильного лесу...».....	14
река.....	15
«давай прекрасными слегка...».....	16
стоическое дерево.....	17
«то ли крестиком вышито...».....	18
ваятель.....	19
«я шёл, я был один на белом свете...».....	20
четырнадцатое февраля.....	21
«всполохи звёзд горящим порохом...».....	23
«мост Иоанновский, чуть выгнута...».....	24
«мать за руку со мной, и вечер чудный...».....	25
«сквозь редкий снег мы этот город весь...».....	26
«вой ветра или чей-то плач...».....	27
«ты узор, нерукотворно вышитый...».....	28
«времени подорожание...».....	29
на рождение Аполлона.....	30
минувший стихотворец.....	31
клоунада с буквой «ф».....	32
три мгновения в парке.....	34
«когда я жил её любя...».....	36
«идя из школы музыкальной...».....	37
«небо звёзд ли, микроны...».....	38

день.....	39
в трёх частях	40
надпись на книге.....	42
яблоня.....	43
«наизнанку эдем...».....	44
«из какого полумрака ты...»	45
«деревья в стоворе, как близкие...».....	46
мимоходом.....	47
она.....	48
ракурс.....	49
плоты	50
«ты июньский ветер воспой...»	51
«вспомни всё, что не помнишь, и узаконь...».....	52
«сёстры медицинские смеются...»	53
«доение коровы, да, коровы доение...»	54
«я что-то знал сию секунду главное...».....	55
на карантине.....	56
«смотрю: дитя котёнка тискает...».....	57
старое кино	59
«не прячься, говорю, не прячься...».....	60
«о вдоль реки зелёной лая...».....	61
«получил, говорит, в столовой суп...».....	62
«дрогнувшая ли свечой в затоне...»	63
«снится котёнок реснится...»	64
«рождённый по тому прообразу...»	65
памятник	66
из аллеи	67
«он, читая, увидит: звезда...».....	68
пóлки.....	69
любовь	71
дети райка	72
элегия Марселю Прусту	73
«пусть вспыхнет моря полоса...»	75
фраза	76
«какое счастье жить, вдоль по шнуру...»	77
опус.....	78

музыка в кадре	79
два окна	80
за дверь	82
на плазе и потом	83
диалог.....	85
на свету.....	86
под фонарём.....	87
«что он сжимал в горсти, сжимал в горсти...»	88
«возьмём, возьмём ту пересадку в Гомеле...»	89
сестре моей жизни	90
в ноябре.....	92
июнь	93
снимок на балконе.....	94
простые вещи.....	95
прохожая семья в аллее	96
стих.....	97
письмо	98
био	100
Лир в саду.....	101
«я помню умирающего друга...»	102
дальний мотив.....	103
без прописных	104
сад	105
«распечатать письмо...»	107
«красная майка твоя...»	108
лес	109
из Готфрида Бенна.....	110
на берегу.....	111
один день	112
городок	113
древо.....	114
псалом.....	115
через тире-1	116
музыка рождения.....	119
у окна	120
через тире-2.....	121

другу	123
песнь творцу	124
моё золотое фламенко.....	125
зеркальное.....	127
«жить бы нам в дальней дали от доморощенной дряни...»	128
«топочется, земля к подошве почвится...».....	129
через тире-3.....	130
песня	132
«Кленовый в покое...»	133
встреча.....	134
встреча встреча	135
исход.....	136
через тире-4.....	137
adieu.....	138
p. s.	139
фотография	140
молчание на набережной	141
через тире-5.....	142
через тире-6.....	143
шесть шагов	144
почти летя.....	145
Вендельштайн.....	146
«когда я о ней...»	147
«как бы зиждиться забвеньями...»	148
«пока я солнцем с головы по пояс...»	149
«какая единственность...».....	150
художник	151
за краем	152
через тире-7.....	153
очерк	155
через тире-8.....	156
шёпотом	158
мимы.....	159
«помню горение...»	160
через тире-9.....	161
«хвоей пахнет остро и сильно...»	163

Літературно-художнє видання

Владимир Гандельсман

Вещи

(російською мовою)

Ілюстрації Карине Арутюнова
Верстка Друкарський двір Олега Федорова
Формат 60 x 84 1/16. Наклад 200 прим. Зам. № 2956
Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 9,86
Гарнітура «Swift».
Підписано до друку 01.05.2023 р.

Видавець Федоров О. М.,
«Друкарський двір Олега Федорова»
Адреса: а/с 24, Київ-205, 04205, Україна,
e-mail: relaks-oleg@ukr.net
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»
Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



ISBN 978-617-8082-95-6



9 786178 082956



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛГА ОВДОРОВА